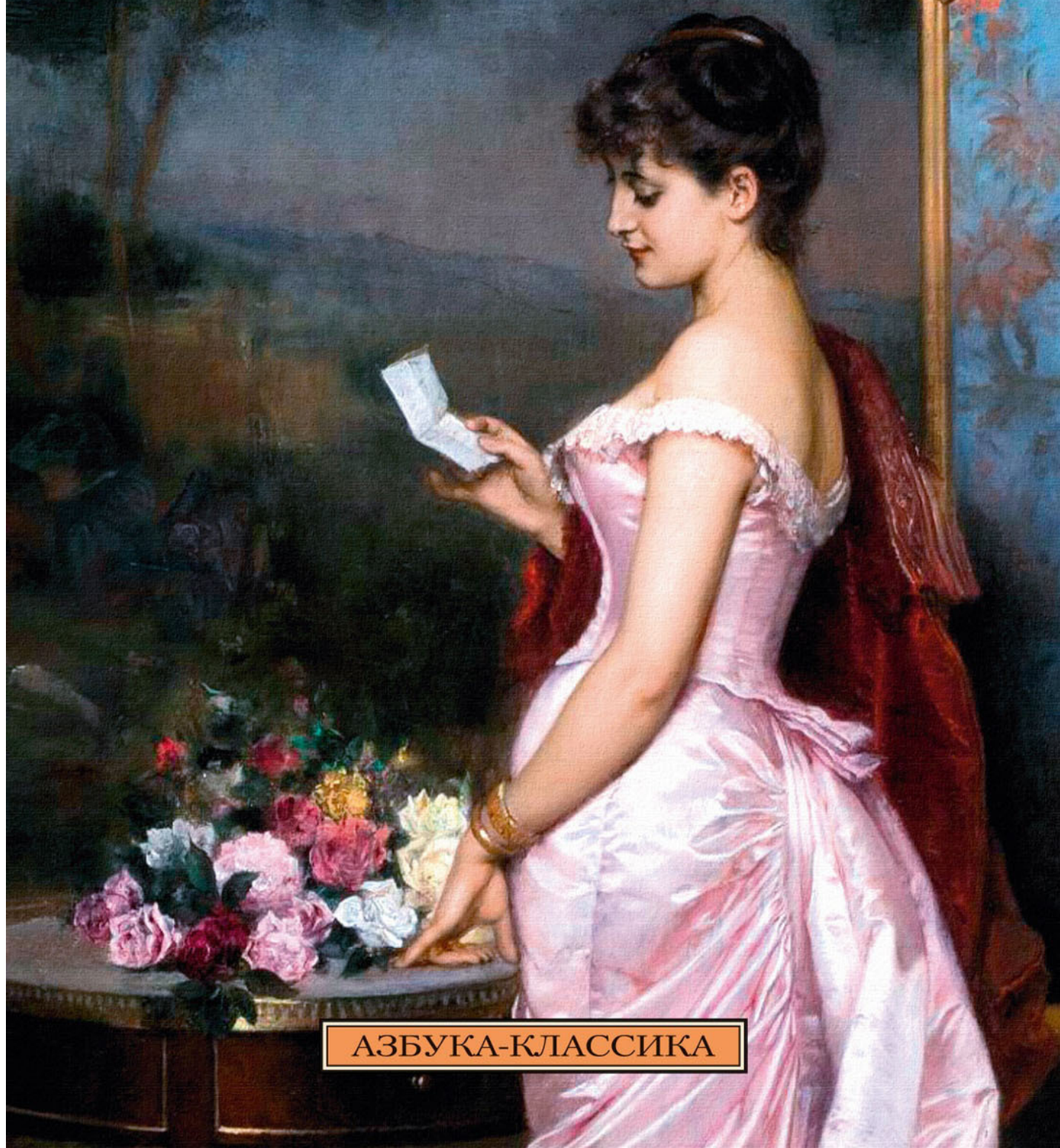


ОНОРЕ ДЕ
БАЛЬЗАК

*Силуэт
женщины*



АЗБУКА-КЛАССИКА

Азбука-классика

Оноре де Бальзак
Силуэт женщины

«Азбука-Аттикус»

1830-1835

УДК 821.133.1
ББК 84(4Фра)-44

де Бальзак О.

Силуэт женщины / О. де Бальзак — «Азбука-Аттикус»,
1830-1835 — (Азбука-классика)

ISBN 978-5-389-24700-0

Оноре де Бальзак — великий французский писатель, у которого, по определению Льва Толстого, «в оное время учились писать все». В многочисленных романах своей «Человеческой комедии» (с подзаголовком «Этюды о нравах») он воссоздал пестрый, жестокий и многоликий мир, отразив жизнь всех классов современного ему общества. В настоящее издание вошли повести и рассказы о любви, которые сам Бальзак определял как «сцены частной жизни»: «Загородный бал», «Побочная семья», «Супружеское согласие» и «Силуэт женщины», а также блистательная повесть «Прославленный Годиссар» — о приключениях хитроумного парижского коммивояжера, который, «пресыщенный пороками Парижа, умеет надеть на себя личину провинциального простодушия».

УДК 821.133.1
ББК 84(4Фра)-44

ISBN 978-5-389-24700-0

© де Бальзак О., 1830-1835
© Азбука-Аттикус, 1830-1835

Содержание

Загородный бал	6
Побочная семья	38
Конец ознакомительного фрагмента.	43

Оноре де Бальзак Силуэт женщины

Honoré de Balzac

ÉTUDE DE FEMME

Перевод с французского Марии Вахтеровой, Надежды Коган, Ольги Моисеенко

Серийное оформление Вадима Пожидаева

Оформление обложки Вадима Пожидаева-мл.

© М. В. Вахтерова (наследники), перевод, 2023

© Н. А. Коган (наследник), перевод, 2023

© О. В. Моисеенко (наследник), перевод, 2023

© Издание на русском языке, оформление.

ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2023

Издательство Азбука®

* * *

Загородный бал

Анри де Бальзаку от брата Оноре

Граф де Фонтэн, глава одной из древних фамилий Пуату, с большим искусством и мужеством служил Бурбонам во время войны вандейцев против республики¹. Выйдя невредимым из всех опасностей, угрожавших жожакам роялистов в ту бурную эпоху истории, он говаривал шутя:

– Я, видите ли, из тех, кто сложил голову на ступеньках трона!

Шутка эта имела известный смысл в устах человека, который только чудом остался в живых в кровавом сражении у Четырех Дорог. Хотя верный вандеец и был разорен конфискациями имущества, он неизменно отказывался от выгодных должностей, которые предлагал ему император Наполеон. Стойкий в своем поклонении аристократизму, он слепо подчинился его правилам, когда выбирал себе подругу жизни. Несмотря на заигрывания одного разбогатевшего в годы революции выскочки, который дорого бы дал, чтобы с ним породниться, граф женился на девице Кергаруэт, бесприданнице, но происходившей зато из древнейшего бретонского рода.

Реставрация застала господина де Фонтэна обремененным многочисленным семейством. Хотя хлопотать о милостях было не в правилах гордого дворянина, тем не менее он, уступив желанию жены, покинул свое поместье, скромных доходов от которого едва хватало на содержание семьи, и переселился в Париж. С сокрушением наблюдая, как жадно его старые товарищи охотились за государственными должностями и званиями, он собрался было возвратиться в свои владения, как вдруг получил правительственный пакет, в коем весьма известный сановник возвещал о возведении его в чин генерал-майора на основании закона, дозволявшего засчитывать офицерам «католической армии» первые двадцать лет негласного царствования Людовика XVIII² за годы действительной службы. Несколько дней спустя без каких-либо ходатайств вандеец получил сверх того ордена Почетного легиона и святого Людовика, полагавшиеся ему по чину. Поколебленный в своем решении этим потоком милостей, которые он приписывал признательности монарха, он счел отныне недостаточным являться по воскресеньям всей семьей в Маршалскую залу Тюильри и во время следования королевской фамилии в часовню всеподданнейше возглашать: «Да здравствует король!» – и просил удостоить его личной аудиенции. Аудиенция была дана в самом непродолжительном времени, но особой торжественностью не отличалась. В королевской приемной толпились старые придворные, чьи напудренные парики, если смотреть на них сверху, напоминали снежную пелену. Граф де Фонтэн встретил там своих прежних сотоварищей, которые приняли его довольно холодно; но принцы крови показались ему *обворожительными*, после того как самый любезный из его повелителей, который, по предположению графа, мог знать его только по имени, подошел позвать ему руку и назвал его истым вандейцем. Несмотря на такие знаки благоволения, никому из высоких особ не пришлось в голову осведомиться, каковы были его потери и какова сумма денег, столь щедро потраченных им на «католическую армию». Он обнаружил – несколько поздно, – что вел войну за свой собственный счет.

К концу вечера он нашел случай вернуть шуточный намек на жалкое состояние своих финансов, сходное с положением многих других дворян. Его величество изволил добродушно

¹ Имеется в виду восстание роялистов, вспыхнувшее в 1793 году в Вандее, департаменте на северо-западе Франции. – *Здесь и далее примеч. ред.*

² *Людовик XVIII* (1755–1821) – Луи-Станислас-Ксавье, граф Прованский, брат погибшего наследника престола; находясь за границей, объявил себя королем Франции в 1795 году. Взошел на престол в 1814 году.

рассмеяться: всякое словцо, отмеченное печатью остроумия, было ему по сердцу; тем не менее он ответил одной из тех королевских шуток, ласковый тон которых много опаснее, нежели гневный выговор. Один из приближенных короля поспешил подойти к сребролюбивому ван-дейцу и в тонких, учтивых выражениях дал ему понять, что не настал еще час предьявить счет повелителю: на рассмотрении находятся гораздо более давние притязания, которые, бесспорно, войдут в историю революции. Граф счел за благо выйти из именитой толпы, окружавшей августейшее семейство почтительным полукругом; затем, не без труда высвободив свою шпагу, цеплявшуюся за хилые ноги придворных, он пересек двор Тюильри и пешком добрался до наемной кареты, оставленной им на набережной. Старик отличался строптивым нравом дворян старого закала, которые сохранили еще в памяти времена Лиги и Баррикад³; усевшись в карету, он принялся жаловаться вслух на перемены, происшедшие при дворе, рискуя навлечь на себя беду.

«В былые времена, – рассуждал он сам с собой, – всякий свободно беседовал с королем о своих личных делах; вельможи могли когда угодно просить милостей и пособий, а нынче не добьешься без неприятностей даже возмещения убытков, понесенных на королевской службе! Черт возьми! Орден святого Людовика и чин генерал-майора, право, не стоят тех трехсот тысяч франков, что я потерял чистоганом ради защиты монархии. Я еще раз поговорю с королем с глазу на глаз, в его собственном кабинете».

Этот случай охладил пыл господина де Фонтэна тем более, что все его хлопоты об аудиенции неизменно оставались без ответа. Он видел к тому же, что при королевском дворе выскочкам Империи нередко доставались те должности, какие при прежнем царствовании приберегались для высшей знати.

– Все пошло прахом, – сказал он однажды утром. – Положительно, король был и остался революционером. Не будь его августейшего брата, который свято блюдет традиции и печется о верных слугах, трудно даже сказать, в какие руки попадет французская корона. Эта проклятая конституционная система – самый худший образ правления и ни при каких обстоятельствах не годится для Франции. Людовик XVIII и господин Беньо все нам напортили в Сент-Уане⁴.

Граф, весьма раздосадованный, уже собирался вернуться к себе в поместье, гордо отказавшись от всяких притязаний на возмещение убытков. В это время события двадцатого марта⁵ возвестили о новой буре, грозившей поглотить законного короля вместе с его приверженцами. Подобно тем великодушным людям, которые не способны выгнать слугу на улицу в ненастье, господин де Фонтан заложил свои земли, дабы разделить судьбу монархии, терпящей бедствие, сам еще не зная, принесет ли ему эмиграция счастье, которого не принесла его былая преданность; но, убедившись, что спутники по изгнанию пользовались большим благоволением, нежели люди, сражавшиеся некогда с оружием в руках против установления республики, он возымел надежду извлечь больше выгод, выехав за границу, чем оставаясь внутри страны для неусыпных и опасных трудов. Расчеты старого придворного не походили на те пустые измышления, что сулят на бумаге золотые горы, а в действительности несут разорение. Короче, по выражению самого остроумного и искусного из наших дипломатов, он стал одним из пятисот верных слуг, разделивших с королевским двором тяжесть изгнания в Генте⁶, и одним из пятидесяти тысяч, которые оттуда возвратились. За время этого краткого междуцарствия госпо-

³ *Католическая лига* – католическая партия во Франции, организованная в 1576 году герцогом Генрихом Гизом для борьбы с протестантами. Под *баррикадами* имеются в виду события в Париже 12 мая 1588 года, когда народные массы восстали против короля Генриха III; этот день получил название «день баррикад».

⁴ *Жан-Клод Беньо* (1761–1835) – французский политик, в 1814 году издал так называемый Сент-Уанский манифест, в котором содержались основные принципы французской конституции.

⁵ 20 марта 1815 года Наполеон, бежавший с Эльбы, где пребывал в качестве узника, вступил в Париж.

⁶ Спасаясь от Наполеона, Людовик XVIII бежал в город Гент во Фландрии.

дин де Фонтэн имел честь выполнять поручения Людовика XVIII и неоднократно доказывал королю свою безупречную благонадежность и искреннюю преданность.

Как-то вечером, когда королю нечего было делать, он припомнил остроу, сказанную господином де Фонтэном в Тюильри. Старый вандеец не упустил столь благоприятного случая и постарался рассказать свою историю достаточно забавно, чтобы король, никогда ничего не забывавший, припомнил ее в нужную минуту. Августейший стилист оценил изящный слог деловых бумаг, выходявших из-под пера скромного дворянина. Благодаря этой маленькой заслуге господин де Фонтэн был отмечен в памяти монарха как один из наиболее преданных слуг престола. По вторичном возвращении короля граф был назначен чрезвычайным эмиссаром и объезжал округа, имея полномочия «вершить суд над зачинщиками мятежа», однако он не злоупотреблял своей грозной властью. Как только эти временные судилища перестали существовать, верховный судья занял кресло в государственном совете, стал депутатом, говорил редко, слушал внимательно и во многом изменил свои мнения. В силу некоторых обстоятельств, оставшихся неизвестными биографам короля, граф настолько вошел в доверие к нему, что однажды насмешливый монарх встретил его следующими словами:

– Друг мой Фонтэн, я не рискнул бы назначить вас главноуправляющим или министром! Ни вы, ни я, будь мы чиновниками, не удержались бы в должности из-за наших убеждений. Конституционный строй имеет то преимущество, что избавляет нас от труда самим увольнять наших государственных секретарей. Что такое наш совет? Гостиница, куда общественное мнение посылает иной раз престранных постояльцев: но как-никак мы всегда сумеем найти местечко для наших верных слуг.

За таким язвительным предисловием последовал приказ о назначении господина Фонтэна управляющим собственными владениями короля. Благодаря восхищенному вниманию, с каким граф выслушивал сарказмы своего царственного друга, имя его появлялось на устах его величества всякий раз, как речь заходила о создании какой-нибудь комиссии, членам которой полагалось солидное вознаграждение. Де Фонтэн был достаточно умен, чтобы молчать о монарших милостях, и умел упрочить их, развлекая короля игривыми рассказами во время тех непринужденных бесед, в которых Людовик XVIII находил такое же удовольствие, как в остроумно составленных письмах, в политических анекдотах и, если позволительно употребить такое выражение, в дипломатических и парламентских сплетнях, расплотившихся в ту пору в изобилии. Общеизвестно, что все мелочи «правительства» – излюбленное словечко венценосного остряка – бесконечно забавляли его. Благодаря здравому смыслу, уму и ловкости графа де Фонтэна все члены его многочисленного семейства с самого раннего возраста присосались, как шутливо говаривал он своему повелителю, точно шелковичные черви, к листочкам бюджета. Так, старший сын де Фонтэна по милости короля занял несменяемую судейскую должность. Второй сын, до Реставрации простой капитан, сразу же по возвращении из Гента получил полк; затем в 1815 году, когда вследствие беспорядков устав не соблюдался, он попал в королевскую гвардию, откуда перешел в лейб-гвардию, потом перевелся в пехоту, а после битвы при Трокадеро оказался в чине генерал-лейтенанта гвардии. Самый младший, назначенный супрефектом, в скором времени стал докладчиком государственного совета и директором одного из муниципальных учреждений города Парижа, где он надежно укрылся от парламентских бурь. Эти тайные милости, негласные, как и королевская благосклонность к графу, продолжали незаметно сыпаться на семейство де Фонтэнов. Несмотря на то, что отец и все три сына имели достаточно синекур и пользовались значительными казенными доходами, не уступающими доходам главноуправляющего, их политическая карьера ни в ком не возбуждала зависти. В те первые годы зарождения конституционного строя мало кто мог правильно оценить некоторые неприметные статьи государственного бюджета, а этим и пользовались ловкие фавориты, выискивая в них возмещение потерянных церковных доходов. Его сиятельство граф де Фонтэн, еще недавно хвалившийся, что ни разу не заглядывал в конституционную хар-

тию, и столь негодовавший на алчность придворных, не замедлил доказать своему повелителю, что нисколько не хуже его понимает дух и преимущества парламентской системы. Однако, несмотря на прочность служебного положения трех своих сыновей, несмотря на доходы, извлекаемые по совокупности из четырех должностей, господин де Фонтэн был обременен слишком многочисленной семьей, чтобы легко и быстро восстановить утраченное состояние. Три его сына были обеспечены видами на будущее, покровительством и личными талантами; но оставались еще три дочери, и граф боялся злоупотреблять добротой государя. Он решил, что скажет ему пока только об одной из этих девственниц, жаждущих возжечь свой светильник. Король был человеком хорошего вкуса и не мог не завершить своих благодеяний. Брак старшей дочери с генеральным сборщиком налогов, Планá де Бодри, решился одним из тех намеков короля, цена которым на первый взгляд невелика, а стоят они миллионов. Однажды вечером, когда государь был в хмуром настроении, он изволил улыбнуться, узнав о существовании второй девицы де Фонтэн, и устроил ее брак с молодым судьей, богатым и способным, правда, буржуазного происхождения, и пожаловал ему титул барона. Но когда через год вандеец заикнулся о третьей дочери, девице Эмилии де Фонтэн, король ответил ему тонким язвительным голоском: «*Amicus Plato, sed magis amica Natio*»⁷.

И несколько дней спустя преподнес «своему другу Фонтэну» довольно безобидное четверостишие, названное им эпиграммой, где подшучивал насчет его трех дочерей, так удачно произведенных на свет в виде троицы. Если верить хронике, король построил свой каламбур на понятии божественного триединства.

– Не соизволит ли государь изменить свою эпиграмму на эпиталаму?⁸ – сказал граф, пытаясь обернуть этот выпад в свою пользу.

– Хоть я и вижу тут рифму, но не вижу смысла, – резко отпарировал король, которому пришлось не по вкусу даже столь невинная насмешка над его стихами.

С того дня его обращение с господином де Фонтэном стало менее благосклонным. Государь любят противоречие меньше, чем мы думаем.

Как почти все дети, младшие в семье, Эмилия де Фонтэн была всеобщей любимицей, и домашние носили ее на руках. И охлаждение монарха огорчало графа тем более, что выдать замуж эту балованную дочь было необычайно трудной задачей. Чтобы уяснить себе, как велики были препятствия, необходимо проникнуть внутрь великолепного особняка, который королевский управляющий снимал на средства казны, Эмилия провела детство в родовом поместье де Фонтэнов и на приволье наслаждалась благами, достаточными для счастья ранней юности; малейшее ее желание становилось законом для ее сестер, братьев, матери и даже для самого отца. Все родные были от нее без ума. Она достигла сознательного возраста как раз в тот период, когда ее семья утопала в милостях и довольстве, и жизнь продолжала ей улыбаться. Роскошь Парижа казалась ей столь же естественной, как изобилие цветов и плодов, как пышность природы в поместье, где прошло ее отрочество. Девочкой она не встречала отпора своим сумасбродным желаниям, а на шестнадцатом году, закружившись в вихре света, уже умела заставить всех себе повиноваться. Привыкая все более и более к милостям судьбы, она уже не могла обходиться без изысканных туалетов, без изящества раззолоченных гостиных и экипажей, без поклонения и лести, искренней или лицемерной, без развлечений и суеты двора. Подобно большинству избалованных детей, она изводила тех, кто любил ее, и приберегала свои чары для равнодушных. Недостатки ее с годами только увеличились, и родителям вскоре пришлось пожинать горькие плоды столь пагубного воспитания. В девятнадцать лет Эмилия де Фонтэн еще не пожелала сделать выбор среди многочисленных молодых людей, которых предусмотрительно собирал ее отец на приемах. Несмотря на свою молодость, она

⁷ «Платон мне дорог, но нация дороже» (*лат.*); измененная поговорка: «Платон мне дорог, но истина дороже».

⁸ *Эпиталама* – свадебная песня.

пользовалась в свете полной свободой суждений, насколько это доступно для девушки. Эмилия не имела друзей, как не имеют их короли, и встречала повсюду лишь поклонение, против чего вряд ли устояла бы и лучшая натура, чем она. Ни один мужчина, будь то даже старик, не имел силы противиться этой девушке, одного взгляда ее было достаточно, чтобы зажечь любовный пламень в самом холодном сердце. Воспитанная более заботливо, нежели ее сестры, она недурно рисовала, болтала по-итальянски и бесподобно играла на фортепьяно; голос ее, усовершенствованный лучшими преподавателями, отличался приятным тембром, придававшим ее пению неотразимое очарование. При встрече с Эмилией, остроумной и умевшей блеснуть своей начитанностью, невольно вспоминалось изречение Маскариля⁹, будто знатные люди рождаются на свет, уже зная все наперед. Она рассуждала с одинаковой легкостью об итальянской и фламандской живописи, о Средних веках и Возрождении, критиковала свысока старые и новые книги и с жестоким, но изящным остроумием умела подчеркнуть недостатки любого произведения искусства. Толпа обожателей жадно ловила самые пустые ее фразы, как турки ловят *фетвы* султана. Так ослепляла она людей поверхностных; что же касается людей серьезных, то врожденное чутье помогало ей угадать их с первого взгляда; тогда она пускала в ход все свое кокетство и благодаря своим чарам умела обмануть их проницательность. Под соблазнительной внешностью она скрывала беспечное сердце, непомерную гордость от сознания своего высокого происхождения и красоты и присущую многим девушкам уверенность, что никто на свете не способен оценить совершенства ее души. В ожидании страстного чувства, рано или поздно испепеляющего сердце всякой женщины, она тратила свой юный пыл на неумеренную любовь к аристократии и выказывала глубочайшее презрение к людям незнатным. Дерзкая и высокомерная с новоиспеченными дворянами, она прилагала все усилия, чтобы ее семья ни в чем не уступала самым блистательным домам Сен-Жерменского предместья.

Ее образ мыслей не мог ускользнуть от проницательного взора господина де Фонтэна; ему и самому со времени замужества старших дочерей не раз доставалось от сарказмов и насмешек Эмили. Люди последовательные могут удивиться, как это старый вандеец выдал старшую дочь за генерального сборщика налогов, который хотя и владел несколькими родовыми поместьями, но не имел при своей фамилии дворянской частицы «де», доставившей столько защитников трону, а вторую дочь – за судью, который стал бароном слишком недавно и не мог заставить свет забыть, что отец его торговал дровами. Столь значительная перемена во взглядах высокородного графа, наступившая уже на седьмом десятке, когда люди редко расстаются со своими убеждениями, объяснялась не только пагубным влиянием современного Вавилона, где все провинциалы в конце концов обтесываются; нет, своими новыми политическими взглядами граф де Фонтэн был обязан главным образом советам и дружбе короля. Августейшему философу доставляло удовольствие постепенно обращать вандейца в новую веру, которой требовал весь ход событий девятнадцатого века и обновление монархии. Людовик XVIII задался целью смешать политические партии, подобно тому как Наполеон перемешал и людей и понятия. Законный король, пожалуй, не менее дальновидный, чем его соперник, поступал как раз наоборот: последний из Бурбонов столь же старался угождать третьему сословию и людям Империи, в ущерб духовенству, сколь ревностно первый из Наполеонов усердствовал, чтобы привлечь на свою сторону высшую знать и убогатить церковников. Будучи поверенным королевских замыслов, член государственного совета сделался незаметно для себя одним из наиболее влиятельных и ловких деятелей умеренной партии, всячески стремившейся во имя интересов нации к слиянию противоречивых убеждений. Он проповедовал высокие принципы конституционного строя и всеми силами помогал своему повелителю управлять политическими рычагами, что позволяло благополучно вести корабль Франции среди бурь и треволнений. Быть может, господин де Фонтэн льстил себя надеждой добиться звания пэра в результате одного из пар-

⁹ *Маскариль* – популярный образ во французских комедиях XVII–XVIII веков, хитрый слуга-пройдоха.

ламентских переворотов, неожиданные последствия которых поражали даже самых опытных политиков. Он не признавал во Франции иной знати, кроме пэров, так как, по его глубочайшему убеждению, только семьи пэров пользовались настоящими привилегиями.

– Дворянство без привилегий, – говорил он, – то же, что рукоятка без топора.

Держась в стороне как от партии Лафайета, так и от партии Лабурдонне¹⁰, он ревностно добивался всеобщего примирения, что, по его мнению, должно было открыть перед Францией новую, блестящую эру. Он старался убедить тех, кто посещал его салон, и тех, у кого бывал сам, что военная и чиновничья карьера в наши дни больших возможностей не представляет. Он советовал матерям избирать для своих сыновей независимые профессии, готовить их к промышленной или финансовой деятельности и давал понять, что военные чины и высшие государственные должности, в соответствии с духом конституции, будут распределяться в конце концов между младшими отпрысками именитых родов пэров. По его словам, буржуазия отвоевала себе значительную роль в государственном управлении, участвуя в выборной палате, получая судебные и финансовые должности, что, как он говорил, всегда было и будет достоянием тузов третьего сословия. Новые идеи главы семейства де Фонтэнов, побудившие его устроить выгодные браки двух старших дочерей, встретили сильный отпор со стороны его домашних. Графиня де Фонтэн осталась верной старым традициям, да и как могла отречься от них женщина, происходившая по материнской линии от Роганов? Она противилась некоторое время замужеству двух старших дочерей, сулившему им счастье и богатство, однако в конце концов сдалась на тайные доводы мужа во время тех интимных вечерних совещаний, когда головы супругов покоятся рядом на одной подушке. Господин де Фонтэн хладнокровно доказал жене путем самых точных расчетов, что жизнь в Париже, требования света, блеск их дома, вознаграждавший их за лишения, мужественно перенесенные в глуши Вандеи, расходы на сыновей поглощают большую часть их бюджета. Поэтому надо ценить как дар небесный представившуюся возможность так выгодно пристроить дочерей: ведь в скором времени они будут пользоваться рентой в шестьдесят-восемьдесят, а то и в сто тысяч франков. Для бесприданниц такие выгодные партии встречаются не каждый день. Наконец пора подумать и о сбережениях, пора упрочить состояние де Фонтэнов и восстановить их прежние земельные владения. Графиня сдалась на столь убедительные доводы, как поступила бы на ее месте всякая мать, пожалуй, еще с большей охотой, но объявила, что пусть по крайней мере ее любимица Эмилия осуществит в своем браке те горделивые мечтания, которые родители имели неосторожность взлелеять в этой юной душе.

Таким образом, события, которые должны были бы вызвать радость в семье, посеяли в ней семена легкого раздора. Генеральный сборщик налогов и молодой судья стали жертвой холодного, церемонного этикета, который сумели установить в доме графиня и ее дочь Эмилия. Вскоре служение этикету открыло новое поле деятельности для двух домашних тиранок. Генерал-лейтенант женился на девице Монжено, дочери богатого банкира; председатель суда имел благоразумие сочетаться браком с барышней, отец которой, обладатель двух или трех миллионов, нажился на соляной торговле; наконец, и младший сын показал себя верным этим расчетливым соображениям, взяв в жены девицу Гростет, единственную наследницу сборщика налогов города Буржа. Трех невесткам и двум зятям казалось настолько привлекательным вращаться в высших политических сферах и в салонах Сен-Жерменского предместья, что все они сообща образовали как бы небольшой двор вокруг высокомерной Эмилии. Союз этот, основанный на личной корысти и тщеславии, был, однако, недостаточно прочным, и юная повелительница вызывала подчас возмущение в своем маленьком королевстве. Происходили

¹⁰ *Маркиз де Лафайет* (1757–1834) – политический деятель, участник американской войны за независимость, Великой французской революции и Июльской революции 1830 года. *Граф Франсуа Режи Лабурдонне* (1767–1839) – политический деятель, крайний роялист.

сцены, правда не нарушавшие светских приличий, но позволявшие членам этой влиятельной семьи проявлять свойственное им остроумие; едкие насмешки и сарказмы хоть и не наносили чувствительного ущерба показной дружбе в кругу семьи, но порою не щадили никого. Так, например, жена генерал-лейтенанта, став баронессой, считала себя ничуть не менее знатной, чем какая-то Кергаруэт, и полагала, что кругленькая сумма в сто тысяч франков ренты дает ей право быть столь же дерзкой, как и ее золовка Эмилия; этой последней она частенько насмешливо желала счастливого брака, сообщая как бы вскользь, что дочь такого-то пэра Франции недавно вышла замуж за господина такого-то, без всякого титула. Жене виконта де Фонтэн доставляло великое удовольствие затмевать Эмилию изысканностью и роскошью своих туалетов, своей мебели и экипажей. Иронический вид, с каким невестки и оба зятя выслушивали иногда высокомерные притязания мадемуазель де Фонтэн, приводил ее в бешенство, и нередко гнев ее находил выход в граде язвительных острот. Когда глава семьи заметил некоторое охлаждение, наступившее в негласной и изменчивой дружбе к нему монарха, он сильно встревожился, потому что его любимица-дочь, раззадоренная насмешками и поддразниванием сестер, никогда еще не метила так высоко.

И вот как раз в то время, когда эта маленькая семейная распря приняла угрожающие размеры, король, как будто начавший снова благоволить к господину де Фонтэну, был поражен недугом, от которого ему суждено было погибнуть. Тонкий политик, так искусно правивший своим кораблем среди бурь, в конце концов потерпел крушение. Граф де Фонтэн, не зная еще, останется ли он в милости, приложил величайшие старания, чтобы собрать вокруг своей младшей дочери самых блестящих кавалеров. Те, кому приходилось разрешать тяжкую задачу выдать замуж гордую и своенравную дочку, вероятно, поймут затруднения бедного вандейца. Завершив это предприятие и угодив любимой дочери, граф достойным образом увенчал бы свою карьеру, начатую им в Париже десять лет назад. По тому, как ловко его семья захватывала оклады во всевозможных ведомствах, ее можно было уподобить австрийскому царствующему дому, грозящему заполнить всю Европу своими родственными связями. И старый вандеец, для которого счастье дочери было главной сердечной заботой, не щадя сил, подыскивал ей все новых женихов; но трудно было удержаться от улыбки, когда дерзкая девушка выносила приговоры и разбирала по косточкам своих обожателей. Можно было подумать, что Эмилия достаточно богата и прекрасна, чтобы по примеру принцессы из «Тысячи и одного дня»¹¹ иметь право выбрать любого принца; возражения ее были одно забавнее другого: у этого слишком жирные икры и кривые колени, тот близорук, третий носит пошлую фамилию Дюран, четвертый хромает, – и почти все казались ей слишком толстыми. Отвергнув двух или трех новых поклонников, Эмилия становилась еще живее, очаровательнее, веселее, чем когда-либо, кружилась в вихре зимних праздников, разъезжала по балам, где ее зоркий взгляд внимательно изучал входящих в моду знаменитостей и где потехи ради она пленяла сердца, но всегда отвечала отказом искателям ее руки.

Природа щедро наделила ее дарами, необходимыми для роли Селимены¹². Высокая и стройная, Эмилия де Фонтэн умела держаться то величественно, то легкомысленно, смотря по желанию. Гибкая лебединая шея придавала ей несколько высокомерный и презрительный вид. У нее имелось в запасе множество поз и грациозных жестов, множество оттенков в голосе и улыбках. Прекрасные черные волосы и густые, резко изогнутые брови подчеркивали горделивое выражение ее лица, которое кокетка с помощью зеркала научилась то делать ледяным, то смягчать долгим или нежным взглядом, легким движением губ, холодной или ласковой улыбкой. Если Эмилии хотелось покорить чье-нибудь сердце, ее чистый голосок становился чрезвычайно мелодичен; но она могла также придать ему металлическую резкость, если намеревалась

¹¹ «Тысяча и один день» – сборник персидских сказок, изданный во Франции в XVIII веке.

¹² Селимена – героиня комедии Мольера «Мизантроп», кокетка, искусная в обычаях салонов и двора.

оборвать нескромную речь ухаживателя. Ее белоснежное лицо и алебастровое чело напоминали сияющую гладь озера, то покрывающегося рябью под дуновением ветерка, то вновь безмятежного и ясного, когда воцаряется тишь. Не раз юноши, ставшие жертвой ее презрения, обвиняли ее в притворстве; но ей ничего не стоило оправдаться, внушить злословящим желание ей понравиться и подчинить их капризам своего кокетства. Никто из светских красавиц не умел лучше ее с холодным высокомерием ответить на поклон знаменитости, или выказать ту оскорбительную вежливость, которая низводит равных ступенью ниже, или же дерзко оборвать того, кто пытался держать себя с ней на равной ноге. Где бы она ни находилась, она принимала комплименты как должные почести и даже в гостях у принцессы крови величавой осанкой и манерами обращала свое кресло в королевский трон.

Господин де Фонтэн – увы! – слишком поздно постиг, что его любимица и баловница вконец испорчена обожанием всей семьи. Восхищение, которое свет вначале выказывает юной девушке, не преминув отомстить ей за это впоследствии, еще более возбудило гордость Эмилии и укрепило в ней самоуверенность. Всеобщее поклонение развило в ней эгоизм, естественный у избалованных детей, которые, подобно августейшим особам, смотрят на всех и все как на забаву. Прелесть юности и блеск природных даров покуда еще скрывали от посторонних глаз эти недостатки, особенно отталкивающие в женщине, чье главное украшение – преданность и кротость. Но от глаз любящего отца не ускользает ничто: господин де Фонтэн не раз пытался растолковать дочери важнейшие страницы загадочной книги жизни. Напрасные попытки! Натерпевшись сверх меры от капризов и насмешек своевольной девушки, он не стал упорствовать в трудной задаче искоренения столь пагубных задатков. Он довольствовался тем, что время от времени давал советы, полные отеческой доброты, но видел с горечью, что самые нежные его слова отскакивают от сердца дочери, как от мрамора. Родителям горько разочаровываться в детях, и старому вандейцу понадобилось немало времени, чтобы понять, как снисходительно дарила ему дочь свои редкие ласки. Она походила на маленького ребенка, говорящего матери: «Поцелуй меня поскорее, я бегу играть». Эмилия, казалось, едва удоставала родителей своей привязанностью. Но иногда, следуя внезапным капризам, необъяснимым у девушки ее возраста, она уединялась и целыми днями не выходила из своей комнаты; она жаловалась, что ей приходится делить привязанность родителей со слишком многими, она ревновала их ко всем, даже к братьям и сестрам. Затем, потратив много усилий, чтобы создать вокруг себя искусственную пустыню, своенравная девушка обвиняла весь мир в своем одиночестве и добровольных мучениях. Вооруженная опытом своих двадцати лет, она проклинала судьбу, не понимая, что главный источник радостей в нас самих, и требуя их от окружающих. Она готова была бежать на край света, чтобы спастись от замужества, подобного бракам ее сестер, и тем не менее в глубине души завидовала их богатству и семейному счастью. Ее мать, не меньше господина де Фонтэна страдавшая от поведения дочери, иной раз подозревала даже, что та не в своем уме. Подобные странности легко объяснимы; мы часто видим зарождение скрытой гордости в сердцах юных особ, принадлежащих к высшим слоям общества и наделенных от природы редкой красотой. Почти все они убеждены, что их матери, достигнув возраста сорока или пятидесяти лет, не могут уже сочувствовать их юной душе и понять их мечтаний. Они воображают, что большинство матерей завидуют дочерям и нарочно одевают их по-своему, с затаенным умыслом затмить их или лишить успеха. Отсюда тайные слезы и глухой ропот на мнимую тиранию матерей. Помимо таких огорчений, искренних, хотя и основанных на воображении, девушки часто одержимы манией ставить себе фантастические жизненные задачи и предсказывать самим себе блестящую будущность. С помощью этого волшебного дара они пытаются превращать свои грезы в действительность; в долгие часы мечтаний они клянутся отдать руку и сердце только человеку с такими-то и такими-то достоинствами, рисуют в воображении идеал, на который во что бы то ни стало должен походить их суженый. Но долгий опыт, серьезные раздумья, приходящие с годами, холодные наблюдения над светом

и его повседневной прозой, множество печальных примеров постепенно лишают нежных красок их вымышленный идеал; и в один прекрасный день, влекомые жизненным потоком, они с изумлением обнаруживают, что вполне счастливы, хотя их поэтические любовные грезы и не сбылись. Следуя этому закону, мадемуазель Эмилия де Фонтэн создала в своей ветреной головке целую программу, которой обязан был следовать претендент, чтобы получить ее согласие. Этим объяснялись ее презрение и насмешки.

«Пусть он будет молод и знатен, – решила она, – в придачу он должен быть пэром Франции или старшим сыном пэра! Я непременно хочу иметь герб в ниспадающих складках голубого намета на дверцах моей кареты, хочу разъезжать наряду с принцами крови по главной аллее Елисейских Полей в дни скачек в Лоншане. К тому же мой отец предполагает, что в недалеком будущем звание пэра станет самым высоким титулом во Франции. Я хочу, чтобы мой суженый был военным и по моему желанию вышел в отставку, я хочу видеть его в орденах, чтобы нам отдавали честь».

Но все эти редкие качества не вели ни к чему, если это выдуманное существо не обладало, помимо того, изысканной любезностью, прекрасной осанкой, остроумием и в особенности стройным сложением. Худошавость – этот идеал внешних пропорций, как ни трудно его достичь, особенно при «представительном образе правления», – являлась непременным условием. У мадемуазель де Фонтэн был некий идеал соразмерности, служивший ей образцом. Если молодой человек с первого взгляда не удовлетворял требуемым условиям, она не удоставала даже взглянуть на него еще раз.

«О боже мой, посмотрите, какой он толстый!» – это было в ее устах величайшим проявлением презрения.

Послушать ее, так люди дородные не способны на чувство, недостойны быть приняты в хорошем обществе и, несомненно, дурные мужья. Полнота, столь ценимая на Востоке, – несчастье для женщины, говорила Эмилия, а уж для мужчины – это просто преступление. Многих забавляли эти парадоксы, так весело и остроумно она их высказывала. Однако граф предвидел, что когда-нибудь нелепость притязаний его дочери не ускользнет от внимания соперниц, столь же проницательных, как и безжалостных, и неизбежно станет предметом насмешек. Он опасался, как бы странные причуды дочери не выродились в дурной тон. Он с трепетом ждал, что беспощадный свет начнет издеваться над героиней, которая так долго остается на сцене, не доводя комедию до развязки. Многие актеры, оскорбленные отказом, казалось, только выжидали малейшей ее неудачи, чтобы отомстить. Равнодушные и не занятые в игре начинали скучать: восхищение всегда утомительно для человеческой природы. Старый вандеец знал лучше всякого другого, что если трудно выбрать момент, чтобы выступить на подмостках большого света, королевского двора, гостиной или театра, то еще труднее вовремя с них сойти. Поэтому в первую же зиму правления Карла X он при содействии своих сыновей и зятьев усугубил старания, чтобы собрать в гостиных своего особняка самых блестящих кавалеров, каких мог предложить Париж и различные провинциальные депутации. Великолепие его балов, роскошь сервировки и обедов, распространявших аромат трюфелей, соперничали со знаменитыми пирами, на которых тогдашние министры вербовали голоса своих парламентских солдат.

Почтенный депутат прослыл тогда одним из виднейших совратителей парламентской неподкупности знаменитой палаты, казалось умиравшей от пресыщения. Странное дело, его старания выдать замуж дочь только способствовали его блистательным успехам. Быть может, он извлекал какую-нибудь скрытую выгоду, ухитряясь «продавать свои трюфели за двойную цену»? Это обвинение, придуманное либеральными остряками, возмещавшими обилием речей недостаток единомышленников в палате, не имело никакого успеха. Поведение дворянина из Пуату отличалось таким достоинством и благородством, что его не коснулась ни одна из эпиграмм, какими ехидные газетчики того времени заклеили всех трехсот депутатов центра, министров, поваров, главноуправляющих, обжор и государственных адвокатов, поддерживав-

ших министерство Виллеля¹³ по долгу службы. К концу славной кампании, по ходу которой господин де Фонтэн несколько раз вводил в действие все свои войска, он был уверен, что устроенный им парад женихов на сей раз не окажется для его дочери только забавным зрелищем. Он испытывал известное удовлетворение от сознания, что с честью выполнил свой отцовский долг. Истошив все средства, он надеялся, что среди стольких сердец, предложенных на выбор капризной Эмилии, найдется хотя бы одно, которое она примет благосклонно. Будучи не в силах возобновить кампанию, раздосадованный к тому же поведением дочери, он решился в одно прекрасное утро, в конце Масленицы, когда палата не слишком настойчиво требовала его присутствия, поговорить с Эмилией серьезно. В то время как лакей искусно выводил на его желтом черепе замысловатые узоры из пудры, завершавшие вместе с зачесами его внушительную прическу, граф не без скрытого волнения приказал своему старому камердинеру пригласить гордую барышню немедленно предстать перед главой семьи.

– Жозеф, – сказал он слуге, когда тот покончил с его прической, – уберите салфетку, раздерните занавеси на окнах, расставьте кресла по местам, стряхните коврик у камина и положите его поправее, вытрите повсюду пыль. Живее! Растворите окно и проветрите кабинет.

Граф засыпал приказаниями запыхавшегося Жозефа, который, угадав намерения своего барина, постарался хоть немножко прибрать его комнату, обычно самую запущенную во всем доме, и даже сумел создать какую-то гармонию из груды счетов, папок, книг и мебели сего святилища, где разбирались дела королевских угодий. После того как Жозеф навел некоторый порядок в этом хаосе и расставил на виду, словно в модной лавке, наиболее привлекательные для глаз предметы, способные оттенить и приукрасить канцелярский стиль этого помещения, он остановился посреди бумажного хлама, наваленного даже на коврах, на секунду сам залюбовался делом рук своих, покачал головой и вышел.

Несчастный обладатель синекур не разделял восхищения своего слуги. Прежде чем усесться в огромное вольтеровское кресло, он подозрительно огляделся вокруг, с неодобрением обследовал свой халат, стряхнул с него крошки табака, старательно высморкался, поправил каминные лопаточки и щипцы, помешал дрова, отогнул отвороты домашних туфель, откинул назад косичку, забившуюся между воротом жилета и воротником халата, и придал ей должное перпендикулярное положение; после этого он ткнул кочергой в уголья очага, постоянно горевшего по причине упорного бронхита старого царедворца. В заключение старик в последний раз окинул взглядом свой кабинет, надеясь, что ничто не даст повода к едким и дерзким замечаниям, которыми дочка обычно отвечала на его мудрые советы. В это утро ему не хотелось ронять своего родительского достоинства. Он осторожно втянул понюшку табаку и несколько раз кашлянул, словно перед выступлением в палате, – слышались легкие шаги дочери, которая вошла, напевая арию из «Il barbiere»¹⁴.

– С добрым утром, отец! Зачем я вам понадобилась в такую рань?

С этими словами, прозвучавшими словно ригурнель пропетой ею арии, она поцеловала графа, но в ее поцелуе не чувствовалось дочерней нежности, а скорее небрежное легкомыслие любовницы, всегда уверенной в могуществе своих чар.

– Дорогое дитя, – торжественно произнес господин де Фонтэн, – я позвал тебя, чтобы поговорить о твоём будущем. Пришло время, когда ты должна выбрать себе мужа, способного дать тебе прочное счастье...

– Милый батюшка, – перебила его Эмилия, пуская в ход самые ласковые ноты своего голоса, – мне кажется, что перемирие, заключенное нами по вопросу о моих женихах, еще не истекло.

¹³ Граф де Виллель (1773–1854) – государственный деятель, премьер-министр в 1821–1828 годах.

¹⁴ «Севильский цирюльник» (ит.).

– Эмилия, перестань шутить в таком серьезном деле. С некоторых пор все твои близкие, все искренне тебя любящие стараются обеспечить тебе, дитя мое, приличную будущность, и было бы черной неблагодарностью отнестись легкомысленно к знакам участия, от кого бы они ни исходили.

Услышав такие слова и бросив лукаво-испытующий взгляд на убранство отцовского кабинета, Эмилия выбрала то из кресел, которое, по всей видимости, реже других служило просителям, сама поставила его по другую сторону камина, уселась напротив отца с такой важностью, что нельзя было не заметить в ее позе издевательства, и скрестила руки на пышной отделке своей белоснежной пелеринки, безжалостно измяв бесчисленные тюлевые оборки. С усмешкой взглянув искоса на озабоченное лицо старика-отца, она прервала молчание:

– Я никогда еще не слыхала, дорогой батюшка, чтобы правительство провозглашало свои указы, даже не сняв халата. Но пусть! – добавила она, улыбаясь. – Народ не должен быть слишком требовательным. Послушаем же, каковы ваши законодательные проекты и официальные предложения.

– Быть может, мне уже не долго суждено давать вам советы, дерзкая девчонка! Выслушай меня, Эмилия. Я не намерен долее вредить своей репутации, составляющей часть достоинства моих детей, вербуя полки танцоров, которых ты обращаешь в бегство каждую весну. Ты уже стала невольной причиной нежелательных размолвок со многими семьями. Надеюсь, что теперь ты лучше поймешь трудность своего собственного и нашего положения. Тебе двадцать два года, дочка; уже года три, как тебе пора быть замужем. Твои братья, обе твои сестры устроились богато и счастливо. Но, дитя мое, расходы, вызванные этими браками, и образ жизни, который мы принуждены вести по твоей милости, настолько превысили наши доходы, что я при всем желании не могу дать за тобой более ста тысяч франков приданого. Я намерен, не откладывая, позаботиться о будущем твоей матери, так как не хочу, чтобы она несла жертвы ради детей. Если бы моей семье пришлось лишиться меня, Эмилия, госпожа де Фонтэн не должна ни от кого зависеть, она имеет право по-прежнему пользоваться благосостоянием, которым я слишком поздно вознаградила ее самоотверженностью в тяжелые годы. Ты сама видишь, дитя мое, что скромная сумма твоего приданого не согласуется с твоими горделивыми мечтами. И тем не менее это будет жертвой, какой я не приносил еще никому из моих детей; но все они великодушно обещали никогда не упрекать нас в предпочтении, оказанном любимой дочери.

– Еще бы, они и так богаты! – заметила Эмилия, с усмешкой покачав головой.

– Дочь моя, цените тех, кто вас любит. Знайте, что только бедные великодушны. У богатей всегда найдется прекрасный повод, чтобы не дарить родственнику двадцати тысяч франков. Ну хорошо, не дуйся, дитя мое, давай поговорим серьезно. Среди молодых людей не обратила ли ты внимание на господина де Манервиля?

– Ах, нет, он сюсюкает, он вечно смотрит себе на ноги, воображая, будто они маленькие, и любит себя собой! К тому же он белокурый, а я не выношу белокурых.

– Ну, а господин де Боденор?

– Он низкого происхождения. Он неуклюжий и толстый. Правда, зато он брюнет... Надо бы этим двум господам сговориться и объединить свои достоинства, чтобы первый подарил второму свою внешность и имя, а тот сохранил бы свои волосы, и тогда... может быть...

– Что ты можешь возразить против господина де Растиньяка?

– Госпожа де Нусинген сделала из него банкира, – сказала Эмилия ядовито.

– А виконт де Портандюэр, наш родственник?

– Этот юнец скверно танцует; кроме того, он без состояния. А главное, отец, все они не титулованы. Я хочу быть по крайней мере графиней, как матушка.

– Значит, за всю зиму ты никого не встретила, кто бы...

– Никого, отец.

– Чего же тебе надо?

– Сына пэра Франции.

– Дочь моя, вы с ума сошли! – воскликнул господин де Фонтэн, вставая.

Но тут он возвел глаза к небу и, казалось, почерпнул новый запас терпения в благочестивой молитве, затем, бросив полный родительского сострадания взгляд на свою дочь, искренне растроганную, он сжал ее руку и сказал, смягчившись:

– Бедное, безрассудное создание! Бог свидетель, я добросовестно выполнил свой отцовский долг. Да что я говорю «добросовестно», – с любовью, моя маленькая Эмилия. Да, видит бог, нынешней зимой я приглашал к нам в дом немало порядочных людей, чье положение, нравственность, добродетели были мне хорошо известны, они казались мне достойными тебя. Дитя мое, задача моя выполнена. С нынешнего дня сама распоряжайся своей судьбой, я одновременно и с радостью и с огорчением слагаю с себя самую тяжкую из родительских обязанностей. Не знаю, долго ли еще тебе придется слышать голос отца, который, увы, никогда не умел быть строгим; но помни, что супружеское счастье зиждется не столько на блестящем положении и богатстве, сколько на взаимном уважении. Счастье это по природе своей скромно и не бросается в глаза. Ступай, дочь моя. Мое согласие обеспечено всякому, кого бы ты ни предложила мне в зятя, но если ты будешь несчастлива, пеняй на себя. Я не отказываюсь помочь тебе советом и делом, но пусть твой выбор будет серьезным и окончательным: я не хочу больше позорить своих седи.

Глубокая любовь, звучавшая в словах отца, торжественный тон его нравоучений растрогали мадемуазель де Фонтэн, но она скрыла свое умиление, вскочила на колени к графу, который, весь дрожа, тяжело опустился в кресло, осыпала его поцелуями и стала так нежно ласкать, что морщины старика разгладились. Когда Эмилия увидела, что отец оправился от тягостного волнения, она шепнула:

– Благодарю вас за ваше доброе внимание, батюшка. Вы даже прибрали кабинет к моему приходу. Вы не ожидали, что ваша любимая дочь окажется такой ветреной и непослушной. Но, отец, неужели так трудно выйти замуж за пэра Франции? Ведь вы же сами утверждали, что их пекут дюжинами. Ах, не откажите мне по крайней мере в совете!

– Нет, не откажу, бедное дитя, и не устану повторять тебе: берегись! Пойми же наконец, что звание пэра – столь еще недавнее явление в нашем «правительствовании», как выражался покойный король, что пэры пока еще не обладают большим состоянием. Тот, кто богат, хочет стать еще богаче. Самый состоятельный из членов нашей палаты пэров не имеет и половины доходов, которыми пользуется самый бедный член английской палаты лордов. Поэтому пэры Франции будут искать для своих сыновей богатых наследниц в любой среде. Они принуждены заключать выгодные браки, и это продлится еще по крайней мере два столетия. Право же, твои лучшие годы пройдут в ожидании счастливого случая. А впрочем, возможно, что чары твои произведут чудо: ведь в наш век иной раз женятся по любви против воли родителей... Когда опытность скрывается за таким свежим, как у тебя, личиком, можно надеяться на самое невероятное. Ведь ты же научилась безошибочно распознавать достоинства человека в зависимости от его веса и объема! Это уже немалая заслуга. Следовательно, мне незачем предупреждать столь мудрую особу о всех трудностях затеянного ею предприятия. Я убежден, что ты никогда не поверишь в здравый смысл незнакомца, если у него вкрадчивый голос, ни в его добродетель, если он плотного сложения. Наконец, я всецело разделяю твое мнение, что сыновья пэров обязаны отличаться совсем особым видом и самыми изысканными манерами. Хотя в наши дни высокое положение внешне ничем не отмечено, но ты сразу увидишь в сыне пэра нечто неуловимое, что поможет тебе узнать его. К тому же ты крепко держишь сердце в узде, как хороший всадник держит своего коня, чтобы он не споткнулся. Желаю удачи, дочка.

– Ты издеваешься надо мной, отец. Так вот заявляю тебе, что я лучше кончу дни в монастыре мадемуазель де Кондэ, чем выйду замуж за кого-нибудь, кроме пэра Франции.

Она выскользнула из объятий отца и, полная гордости, что отныне сама себе госпожа, убежала, напевая арию «*Caro non dubitare*» из «*Matrimonio segreto*»¹⁵. Как раз в этот день в доме праздновали какое-то семейное торжество. Во время десерта старшая сестра Эмилии, госпожа Планá, жена генерального сборщика налогов, заговорила о молодом американце, обладателе громадного состояния, завидном женихе, который без памяти влюблен в ее сестру.

– Он, кажется, банкир, – небрежно заметила Эмилия. – Я не люблю финансистов.

– Однако, Эмилия, – возразил барон де Виллен, муж второй сестры мадемуазель де Фонтэн, – вы и судейских не жалуете; таким образом, если вы будете отвергать всех нетитулованных богачей, я, право, не представляю, в каком же классе общества вы выберете себе мужа.

– В особенности, Эмилия, при твоём пристрастии к худобе, – прибавил генерал-лейтенант.

– Я сама знаю, что мне надо, – ответила девушка.

– Сестрице нужно прекрасное имя, прекрасный юноша с прекрасным будущим и вдобавок сто тысяч франков ренты, – сказала баронесса де Фонтэн, – словом, господин де Марсе, например.

– Я уверена, душенька, – возразила Эмилия, – что никогда не выйду замуж так опрометчиво, как вышли многие на моих глазах. Да и вообще я заявляю раз и навсегда, чтобы прекратить все эти споры о замужестве: всякий, кто заговорит со мной о браке, будет отныне личным моим врагом и нарушителем моего покоя.

Тут вмешался дядюшка Эмилии, вице-адмирал, недавно присовокупивший к своим капиталам двадцать тысяч франков ренты в связи с законом о возмещении убытков¹⁶, семидесятилетний старик, который пользовался правом говорить горькие истины своей обожаемой племяннице. Чтобы рассеять неприятный осадок от этого разговора, он воскликнул:

– Оставьте же в покое мою бедную Эмилию! Разве вы не видите, что она дожидается совершеннолетия герцога Бордосского?¹⁷

Эта шутка вызвала дружный хохот.

– Берегитесь, как бы я не вышла за вас, старый болтун! – отрезала девушка, последние слова которой, по счастью, были заглушены общим шумом.

– Дети мои, – сказала госпожа де Фонтэн, желая смягчить эту дерзость. – Эмилия, так же как и все вы, попросит совета у своей матери.

– О господи, в деле, касающемся меня одной, я буду слушаться только одной себя! – громко отчеканила мадемуазель де Фонтэн.

Взоры всех присутствующих обратились к главе семьи. Каждому было любопытно, как он выйдет из положения, чтобы поддержать свое достоинство. Старый вандеец пользовался всеобщим уважением не только в свете – не в пример многим, менее счастливым отцам, его высоко ставили и в собственной семье, все члены которой с благодарностью признавали его высокие достоинства и заслуги в устройстве благосостояния своих родных; поэтому он был окружен тем глубоким почтением, какое встречается по отношению к старшему представителю генеалогического древа лишь в английских семьях и только в немногих аристократических фамилиях на материке. Воцарилось глубокое молчание, и все сидящие за столом переводили глаза с надутого и дерзкого личика избалованной девушки на суровые лица супругов де Фонтэн.

– Я решил предоставить моей дочери Эмилии право самой распоряжаться своей судьбой, – произнес граф глухим и торжественным голосом.

¹⁵ «Милая, оставь сомненья» – ария из комической оперы Чимарозы «Тайный брак».

¹⁶ Имеются в виду выплаты эмигрантам, пострадавшим от Великой французской революции.

¹⁷ *Граф де Шамбор, герцог Бордосский* (1820–1883) – французский принц из династии Бурбонов, внук короля Карла X. Во времена действия романа ему было пять лет.

Родственники и гости взглянули на мадемуазель де Фонтэн с любопытством, смешанным с жалостью. Слова эти, очевидно, означали, что родительское терпение истощилось в тщетной борьбе с характером Эмилии, который, по мнению всей семьи, был неисправим. Зятя зашептались, а братья насмешливо переглянулись со своими женами. С этой минуты все перестали интересоваться брачными замыслами гордой девицы. Один только старый дядя в качестве бывшего моряка решался лавировать около нее и сносил ее вспышки, бесстрашно отвечая залпом на залп.

После утверждения бюджета вся семья – верный образец парламентских семей, процветающих по ту сторону Ла-Манша, заполнивших все министерства и имеющих каждая десятков голосов в палате общин, – разлетелась на летний сезон, словно стая птиц, по окрестностям Онэ, Антони и Шатнэ. Генеральный сборщик налогов и богач Планá недавно приобрел в этих краях усадьбу для своей жены, наезжавшей в Париж только на время сессий. Как ни презирала прелестная Эмилия низкое происхождение, чувство это не распространялось на те преимущества, которые доставляют буржуазии накопленные ею капиталы, поэтому она соблаговолила сопровождать сестру на ее роскошную виллу, не столько из привязанности к поселившимся там родным, сколько следуя неумолимым правилам хорошего тона, предписывающим всякой уважающей себя женщине на лето покидать Париж. Зеленые луга Со как нельзя лучше отвечали всем требованиям хорошего тона.

Вряд ли слава деревенских балов в Со распространилась за пределы Сенского округа, и поэтому уместно сообщить некоторые подробности об этом еженедельном празднике, давно вошедшем в традицию. Маленький городок Со знаменит своим местоположением и живописными окрестностями. Быть может, в действительности они не представляли ничего замечательного и обязаны своей репутацией только неприязнательности парижских буржуа, которые, вырвавшись из каменных гробов, готовы восхищаться даже Босской равниной. Однако, если судить по тому, что в поэтических рощах Онэ, на холмах Антони и в долине Бьевры поселилось немало художников, изъездивших полсвета, несколько иностранцев, людей весьма разборчивых, и множество красивых женщин, известных своим вкусом, приходится признать, что парижане правы. Впрочем, Со обладает еще одной приманкой, не менее привлекательной для парижанина. Посреди парка, откуда развертываются чудесные виды, возвышается обширная, открытая со всех сторон ротонда под огромным легким куполом, покоящимся на стройных колоннах. Под этим огромным сводом находится танцевальный зал. Даже самые чопорные из окрестных помещиков раза два-три в лето приезжают полюбоваться дворцом сельской Терпсихоры – кто блестящими кавалькадами, кто в легких, изящных экипажах, обдавая пылью зазевавшихся пешеходов. Надежда встретить здесь великосветских дам и удостоиться их взгляда, а также гораздо чаще сбывающаяся надежда полюбоваться юными деревенскими плутовками приводят по воскресеньям на бал в Со толпы адвокатских писцов, учеников Эскулапа и юношей, приобретших прозрачную бледность в сыром воздухе парижских лавок. А потому немало мещанских свадеб было решено здесь, под звуки оркестра, восседающего в центре этого круглого зала. Если бы крыша могла говорить, сколько любовных историй рассказала бы она!

Благодаря этой разноликой толпе, прекрасной местности, ротонде, великолепному парку балы в Со таили в себе такие соблазны, каких не могли предложить в то время другие балы в окрестностях Парижа. Эмилия первая выразила охоту пойти «поиграть в простонародье» на этом веселом загородном балу и поразвлечься всласть. Все были удивлены ее желанием потолкаться в толпе; но ведь инкогнито является любимой забавой высоких особ. Мадемуазель де Фонтэн заранее радовалась, представляя себе ужимки местных горожанок, она воображала, что немало мещанских сердец сохранит воспоминание об ее обольстительном взгляде и улыбке, она заранее издевалась над жеманными танцорками и чинила карандаши, рассчитывая обогатить новыми набросками страницы своего сатирического альбома. Никогда еще не ожидала она воскресного дня с таким нетерпением. Общество, решившее почтить праздник своим

присутствием, отправилось из усадьбы Планá пешком, чтобы не разоблачать своего высокого положения. Пообедали нарочно пораньше. Месяц май благоприятствовал этой аристократической затее, подарив путешественникам прекраснейший вечер. Мадемуазель де Фонтэн была поражена, увидев под сводом ротонды среди танцующих кадрили несколько пар, по всей видимости принадлежавших к хорошему обществу. Правда, она заметила в толпе несколько юношей, которые, вероятно, пожертвовали сбережениями целого месяца, чтобы блеснуть на этом балу, и разгадала тайну многих парочек, в чьей слишком откровенной радости не чувствовалось супружеской скуки; но в итоге урожай оказался не слишком обильным, и ей приходилось выискивать оброненные колоски. Она с изумлением видела, что веселье, одетое в ситец, ничем не отличается от веселья, наряженного в атлас, и что мещане танцуют с такой же грацией, а иногда и лучше, чем дворяне. Туалеты были по большей части скромные и к лицу. Те, кто представлял в этом обществе местных феодалов, то есть богатые крестьяне, держались в своем углу с большим достоинством. Эмилии понадобилось немало усилий, чтобы разобраться в этом разнородном сборище, где оказалось не так-то просто найти повод для насмешек. Однако ей не хватило времени ни для язвительных замечаний, ни для того, чтобы уловить те забавные словечки, которые доставляют радость сатирикам. Гордое создание неожиданно встретило на этом пышном лугу некий цветок (сравнение по сезону), величелие и краски которого подействовали на ее воображение обаянием новизны. Нам нередко случается смотреть на платье, на обои, на лист белой бумаги настолько рассеянно, что мы сразу не замечаем на них пятна или блестящей точки, и только позже они вдруг бросаются нам в глаза, как будто возникли лишь в ту самую минуту, как наш взгляд упал на них. В силу странного психологического явления, довольно схожего с вышеописанным, мадемуазель де Фонтэн внезапно признала в юноше, стоявшем неподалеку от нее, тот самый образец внешних совершенств, о каком мечтала с давних пор.

Она выдвинула один из грубых стульев, составлявших естественную ограду зала, и усеялась впереди своих родных, чтобы встать или отойти, когда ей вздумается, наблюдая, точно на выставке в музее, живые картины и группы танцоров; она дерзко наводила лорнет на чье-нибудь лицо, хотя бы оно находилось совсем рядом, и громко делала замечания, как будто порицала или расхваливала портрет или жанровую сцену. Ее взоры, рассеянно блуждавшие по огромному ожившему полотну, внезапно привлекло лицо юноши, словно нарочно помещенного в углу картины в самом выгодном освещении, как существо особенное, выделяющееся из толпы. Незнакомец, мечтательный и одинокий, прислонился к одной из колонн, поддерживающих купол, и стоял, скрестив руки и чуть подавшись вперед, словно позировал художнику для портрета. Его поза, полная изящества и благородства, казалась совершенно естественной. Он повернулся вполборота к Эмилии и слегка склонил голову вправо, подобно Александру, подобно лорду Байрону и прочим великим людям, и тем не менее ни один жест в нем не указывал, что он стремится привлечь к себе внимание. Его пристальный взгляд, следивший за одной парой, выдавал сильное волнение. Стройный и гибкий стан юноши напоминал дивные пропорции Аполлона. Прекрасные черные волосы вились от природы над его высоким лбом. Мадемуазель де Фонтэн с первого же взгляда заметила, что на нем тонкая сорочка, свежие лайковые перчатки, купленные, несомненно, в хорошем магазине, заметила и небольшую ногу, обутую в изящный сапог ирландской кожи. На нем не было ни одной из тех безвкусных безделушек, какими любят себя украшать бывшие щеголи Национальной гвардии или ловеласы-приказчики. На его жилете безупречного покроя выделялась только черная лента лорнета. Еще никогда разборчивой Эмилии не приходилось видеть глаза, затененные такими длинными и загнутыми ресницами. Печалью и страстью дышало это смуглое мужественное лицо. Улыбка, казалось, вот-вот приподымет уголки красивого рта, выражая, однако, не веселость, а скорее какую-то нежную грусть. За этим челом, за всем необычайным обликом угадывалась слишком одаренная личность, чтобы можно было просто сказать: «Какой красавец!» или «Какой очаро-

вательный юноша!» Хотелось узнать его ближе. Опытный наблюдатель непременно увидел бы в незнакомце человека незаурядного, которого привлекла на этот сельский праздник какая-то особая причина.

На все эти догадки Эмилии понадобилось не более минуты, и счастливец, подвергнутый столь строгому анализу, был удостоен ее тайного восхищения. Она не подумала: «Он должен быть пэром Франции!», но: «О, если только он дворянин, а это, несомненно, так!..» Не докончив своей мысли, она вдруг встала и в сопровождении брата, генерал-лейтенанта, направилась к колонне, делая вид, что рассматривает веселые фигуры кадрили; но благодаря особой зоркости, присущей женщинам, от ее глаз не укрылось ни одно движение молодого человека, к которому она приближалась. Незнакомый вежливо отошел, чтобы уступить место двум новопривыбшим, и прислонился к соседней колонне. Эмилия почувствовала себя задетой, как будто вежливость незнакомца была величайшей дерзостью, и принялась болтать с братом гораздо громче, чем допускал хороший тон; она вскидывала головку, усиленно жестикулировала и смеялась без особого повода, не столько ради того, чтобы позабавить брата, как для того, чтобы привлечь внимание невозмутимого юноши. Но ни одна из ее уловок не имела успеха. Тогда мадемуазель де Фонтэн проследила направление взгляда молодого человека и угадала причину его безразличия.

Среди пар кадрили неподалеку от них танцевала бледная молодая девушка, напоминавшая тех шотландских богинь, что изобразил Жироде на своей огромной картине «Франкские воины перед Оссианом». Эмилии пришло в голову, что это, должно быть, знатная леди, недавно поселившаяся в соседнем поместье. Ее кавалером был юнец лет пятнадцати, с красивыми руками, в нанковых панталонах, синем фраке и белых башмаках – очевидно, любовь к танцам делала ее нетребовательной в выборе партнеров. Видимая хрупкость и болезненность не уменьшали ее подвижности; только лицо ее оживилось, и легкий румянец окрасил бледные щеки. Мадемуазель де Фонтэн приблизилась к танцующим, чтобы лучше рассмотреть чужеземку, когда та вернется на свое место, пока ее визави будет повторять исполненную ею фигуру. Но тут к прелестной танцорке подошел незнакомец, наклонился к ней, и любопытной Эмилии удалось отчетливо расслышать следующие слова, произнесенные повелительным и вместе нежным тоном:

– Клара, дитя мое, не танцуйте больше.

Клара сделала было недовольную гримаску, потом кивнула головой в знак повиновения и в конце концов улыбнулась. После кадрили юноша с заботливостью влюбленного укутал плечи девушки кашемировой шалью и усадил ее так, чтобы ее не продуло ветром. Вскоре, заметив, что они поднялись и прогуливаются вдоль ограды, очевидно собираясь уезжать, мадемуазель де Фонтэн нашла способ последовать за ними под тем предлогом, что желает полюбоваться красотами парка. Ее брат с лукавым добродушием следовал за ней в ее беспорядочной прогулке. И вот Эмилия увидела, как прекрасная пара села в элегантную двуколку, которую сопровождал верховой ливрейный лакей; в ту минуту как молодой человек, уже сидя в коляске, выравнял вожжи, равнодушно рассматривая толпу, он в первый раз удостоил Эмилию взглядом; после этого она с некоторым удовлетворением увидела, как он обернулся два раза подряд, и юная незнакомка последовала его примеру. Уж не ревнует ли она?

– Надеюсь, ты уже налюбовалась на парк, – сказал ей брат. – Мы можем вернуться в ротонду?

– Охотно, – отвечала она. – Не родственница ли это леди Дэдлей? Как ты думаешь?

– У леди Дэдлей может гостить родственник, – возразил барон де Фонтэн, – но молодая родственница – едва ли!..

На другой день мадемуазель де Фонтэн высказала желание покататься верхом. Она исподволь приучила своего старого дядюшку и братьев сопровождать ее в утренних прогулках, якобы очень полезных для здоровья. Она до странности полюбила окрестности поместья, где

проживала леди Дэдлей. Несмотря на все эти кавалерийские маневры, ей пока еще не удалось повстречать незнакомца, на что она надеялась, предпринимая свои экскурсии. Много раз она посещала балы в Со, но не находила там молодого англичанина, словно упавшего с небес, дабы заполнить собою и расцветить ее мечты. Хотя ничто так не подстрекает зарождающуюся любовь молодой девушки, как препятствия, однако бывали минуты, когда мадемуазель де Фонтэн готова была отказаться от своих тайных поисков; она почти отчаялась в успехе предприятия, необычность которого может дать представление о дерзости ее нрава. И действительно, она могла бы сколько угодно кружить вокруг селения Шатнэ, так и не встретив своего незнакомца, ибо юная Клара – таково было имя, слышанное мадемуазель де Фонтэн – вовсе не была англичанкой, а тот, кого она считала иностранцем, и не думал проживать в цветущих и благоуханных рощах Шатнэ.

Однажды вечером Эмилия, катаясь верхом с дядюшкой, который с наступлением теплых дней забыл о своей подагре, встретила с леди Дэдлей. Рядом с прославленной иностранкой в коляске сидел господин де Ванденес. Эмилия узнала эту красивую пару, и все ее предположения рассеялись, как сон. С чувством досады, которая овладевает всякой женщиной, обманутой в своих ожиданиях, она резко дернула поводья и так разогнала своего коня, что ее дядюшке стоило огромных трудов угнаться за ней.

«Должно быть, я слишком состарился, чтобы понимать двадцатилетних фантазерок, – думал моряк, подымая лошадь в галоп, – или, может быть, нынешняя молодежь не похожа на прежнюю. Но что это с моей племянницей? Теперь она трусит мелкой рысцей, точно жандармский патруль по улицам Парижа. Уж не хочет ли она перерезать дорогу вон тому честному буржуа с альбомом в руках? Он похож на поэта, обдумывающего стихи. Черт возьми, какой же я болван! Да не за этим ли юношей мы охотимся все эти дни?»

При этой мысли старый моряк перевел своего коня на рысь и постарался догнать Эмилию, не привлекая ее внимания. У самого вице-адмирала было на совести немало походов в 1771 году и позже, в ту эпоху, когда любовные интрижки были у нас в чести, и он сразу понял, что Эмилия совершенно случайно встретила незнакомца, замеченного ею на балу. Хотя зоркость его серых глаз и затуманилась с годами, граф де Кергаруэт сумел прочесть признаки необычайного волнения на лице племянницы, как ни старалась она казаться невозмутимой. Сверкающие взоры девушки в каком-то оцепенении впились в незнакомца, который мирно шагал впереди нее.

«Так и есть! – решил моряк. – Теперь она пойдет за ним на буксире, как торговое судно за корсаром. Потом, когда он исчезнет из виду, она будет терзаться, не зная, в кого влюбилась и кто он такой – маркиз или мещанин. Право же, молодым ветреницам не мешает иметь под боком старого морского волка вроде меня...»

Внезапно он пустил свою лошадь вскачь, постаравшись увлечь за собой коня племянницы, и с такой быстротой промчался между нею и молодым пешеходом, что вынудил последнего отскочить к зеленому откосу, окаймлявшему дорогу. Круто осадив своего скакуна, граф крикнул:

– Могли бы, кажется, посторониться!

– Ах, простите, сударь, – отвечал незнакомец. – Я и не знал, что мне полагается извиниться за то, что вы чуть не сшибли меня с ног.

– Э, полно болтать, приятель! – резко оборвал его моряк язвительным тоном, в котором звучало что-то оскорбительное.

Тут граф замахнулся хлыстом, как бы намереваясь стегнуть лошадь, и, коснувшись плеча собеседника, проговорил:

– Либеральные буржуа – резонеры, а всякий резонер должен быть благоразумен.

Услышав эту колкость, юноша поднялся на откос дороги; он скрестил руки на груди и ответил с горячностью:

– Сударь, судя по вашим сединам, трудно поверить, что вас все еще привлекают дуэли.

– Сединам? – закричал моряк с возмущением. – Ты нагло лжешь, волосы у меня только с проседью!

Спор, начатый в таком тоне, в несколько секунд принял столь жаркий оборот, что молодой человек перестал сдерживаться. Но граф Кергаруэт, увидев, что его племянница скачет к ним с выражением мучительной тревоги на лице, назвал противнику свое имя и попросил его молчать в присутствии юной особы, доверенной его попечениям. Незвестный не мог удержаться от улыбки и протянул старому моряку свою визитную карточку, сообщив, что снимает домик в Шеврезе, затем, указав туда дорогу, поспешил удалиться.

– Вы чуть было не искалечили этого несчастного штафирку, племянница, – сказал граф, поворачивая навстречу Эмилии. – Разве вы разучились держать коня в узде? Вы предоставили мне одному заглаживать ваши безумства, подвергая риску мое достоинство; между тем будь вы здесь, одного вашего взгляда или приветливого слова – а ведь вы умеете быть любезной, когда не дерзите, – было бы достаточно, чтобы все уладить, даже если бы по вашей милости он сломал себе руку.

– Ах, милый дядя, во всем виновата ваша лошадь, а вовсе не моя. Право, мне кажется, что вам становится трудно ездить верхом, вы уже не такой лихой наездник, как в прежние годы. Но вместо того чтобы болтать пустяки...

– Черта с два! Пустяки! Разве это пустяк – нагрубить своему дяде?

– Может быть, нам следует узнать, не ранен ли этот молодой человек? Ведь он хромает, дядя, посмотрите же.

– Да нет, он несется на всех парусах. Ну и здорово же я его отчитал!

– Ах, дядюшка, узнаю вас!

– Стой, племянница, – сказал граф, схватив под уздцы коня Эмилии. – Я не вижу надобности заискивать перед каким-то лавочником, который должен быть только польщен, что его сшибла с ног очаровательная барышня или командир корабля «Бель-Пуль».

– Почему вы думаете, что он из простых, милый дядя? Мне показалось, что у него прекрасные манеры.

– Нынче у всех хорошие манеры, племянница.

– Нет, дядюшка, далеко не у всех такой вид и обращение, это приобретается только в свете; и я готова держать пари, что этот юноша – дворянин.

– Да у вас и времени-то не было рассмотреть его как следует.

– Но я уже не в первый раз его вижу.

– И уже не в первый раз за ним охотитесь! – со смехом отпарировал адмирал.

Эмилия покраснела; дядя, вдоволь насладившись ее замешательством, сказал наконец:

– Эмилия, вы знаете, я люблю вас, как родную дочь, особенно за то, что вы единственная из всей семьи сохранили вполне законную гордость, которая оправдана высоким рождением. Черт побери, племянница, кто бы мог подумать, что добрые правила станут такой редкостью? Ну так вот, я хочу быть доверенным ваших тайн. Милая крошка, я вижу, что этот юный дворянин вам безразличен. Тсс! Домашние будут издеваться над нами, если мы отчалим под пиратским флагом. Вы понимаете, что это значит. Так позвольте же мне прийти вам на помощь, племянница. Будем оба хранить нашу тайну, и я обещаю привести его к нам в гостиную.

– Когда же, дядя?

– Завтра.

– Но, милый дядюшка, надеюсь, это меня ни к чему не обяжет?

– Решительно ни к чему. В вашей воле обстрелять его, поджечь или даже потопить, как старое, негодное судно. Ведь вам это не впервые, сознайтесь?

– До чего же вы добры, дядюшка!

Приехав домой, граф тотчас надел очки, потихоньку вытащил из кармана визитную карточку и прочел: *Максимилиан Лонгвиль, улица Сантье.*

– Будьте спокойны, дорогая племянница, – сказал он Эмилии, – вы можете взять его на абордаж со спокойной совестью: он принадлежит к древнему историческому роду, и если он не пэр Франции, то непременно им будет.

– Откуда вам это известно?

– Это моя тайна.

– Значит, вы знаете, как его зовут?

Граф молча кивнул; его седовласая голова напоминала вершину старого дуба, на которой еще осталось несколько листочков, свернувшихся от осенней стужи; обрадованная Эмилия решила в сотый раз испытать на нем неотразимое могущество своего кокетства. Она в совершенстве владела искусством обольщать старого дядюшку; расточая ему самые трогательные ласки, самые нежные слова, она снизошла даже до поцелуев, чтобы только добиться от него разоблачения важной тайны. Но старик, который постоянно заставлял племянницу разыгрывать подобные сцены и обычно вознаграждал ее то новой драгоценностью, то ложей в Итальянской опере, теперь остался глух к ее просьбам и даже ласкам. Так как на сей раз он слишком долго злоупотреблял этим удовольствием, Эмилия рассердилась, перешла от ласк к насмешкам и надулась, потом смирилась, одолеваемая любопытством. Хитрый моряк добился от племянницы торжественного обещания быть на будущее время сдержаннее, мягче, менее своенравной, тратить меньше денег, а главное, обо всем с ним советоваться. Когда договор был заключен и скреплен поцелуем, запечатленным на белоснежном лбу Эмилии, старик увел ее в уголок гостиной, усадил к себе на колени, зажал визитную карточку в руке и, приоткрывая букву за буквой, дал прочесть фамилию ЛОНГВИЛЬ, но ни за что не согласился показать адрес. Это происшествие еще более усилило тайную любовь мадемуазель де Фонтэн, и в воображении ее почти всю ночь развертывались самые блистательные картины, самые радужные надежды, которые она лелеяла в своих мечтах. Наконец-то благодаря долгожданному случаю Эмилия впервые видела не химеры, а нечто реальное у источника всех тех великолепий, какими она мысленно украшала свою будущую брачную жизнь. Подобно всем юным существам, не ведающим горестей любви и супружества, она увлеклась обманчивой внешней стороной супружества и любви. Чувство ее зародилось, как зарождаются почти все прихоти юности, сладкие и жестокие заблуждения, оказывающие столь роковое влияние на судьбу молодых девушек, еще недостаточно опытных, чтобы самим заботиться о своем будущем счастье. На другое утро, пока Эмилия еще спала, ее дядя поспешил в Шеврез. Заметив в саду изящного загородного домика юношу, которого он так грубо оскорбил накануне, моряк подошел к нему с изысканной любезностью, отличающей вельмож старого времени.

– Ах, сударь мой, кто бы мог подумать, что я, дожив до семидесяти трех лет, затею ссору с сыном или внуком одного из лучших моих друзей? Я вице-адмирал, сударь. Не стоит и говорить, что подраться на дуэли для меня такой же пустяк, как выкурить сигару. В мое время молодые люди становились приятелями не иначе, как пролив кровь друг друга. Но – тысяча чертей! – вчера я в качестве старого моряка погрузил на борт слишком много рому и наскочил на вас. По рукам! Я предпочитаю проглотить сотню колкостей от одного из Лонгвилей, чем причинить малейшую неприятность его семье.

Как ни старался юноша выказать холодность графу Кергаруэту, он не мог устоять против чистосердечного добродушия и охотно пожал ему руку.

– Вы собираетесь ехать верхом, – сказал граф. – Пожалуйста, не хочу вас стеснять. Но если у вас нет никаких определенных планов, едемте со мной, я приглашаю вас отобедать сегодня в нашей усадьбе. С таким человеком, как мой шурин, граф де Фонтэн, стоит познакомиться. Э, черт возьми, я надеюсь загладить свою грубость, представив вас пятерым красивейшим женщинам Парижа. Ага, юноша, ваш нахмуренный лоб разгладился! Люблю молодых

людей, люблю видеть счастливый блеск их глаз! Их счастье напоминает мне благословенные годы моей юности, когда не было недостатка ни в любовных приключениях, ни в дуэлях. Как веселились в ту пору! Теперь же вы, юные старички, любите рассуждать и тревожиться по пустякам, как будто у нас не было ни пятнадцатого, ни шестнадцатого века.

– Но, сударь, разве мы не правы? Шестнадцатый век принес Европе только свободу религиозную, а девятнадцатый даст ей свободу полити...

– Ох, не будем говорить о политике. Я ведь тупоумный ультрароялист. Но я не препятствую молодым людям быть революционерами, лишь бы они предоставили королю свободу разгонять их сборища.

Проехав несколько шагов, граф со своим юным спутником оказались в чаще леса. Тут старый моряк выбрал молодую тонкую березку, остановил лошадь, поднял пистолет и всадил пулю в самую середину ствола на расстоянии пятнадцати шагов.

– Вы сами убедились, мой друг, что мне нечего бояться дуэли, – сказал он, глядя на Лонгвиля с комичной важностью.

– Так же, как и мне, – возразил Лонгвиль, затем зарядил пистолет, прицелился и всадил свою пулю совсем рядом с отверстием, пробитым пулей графа.

– Вот это я называю хорошо воспитанный юноша! – воскликнул моряк в восторге.

Во время прогулки граф уже начал смотреть на своего спутника как на будущего племянника и нашел множество поводов расспросить о всевозможных мелочах, которые, по его понятиям, необходимо было знать настоящему дворянину.

– Есть у вас долги? – спросил он наконец у своего спутника в заключение беседы.

– Нет, сударь.

– Как? Вы оплачиваете наличными все, что вам поставляют?

– Аккуратно оплачиваем, сударь: иначе мы потеряли бы кредит и всеобщее уважение.

– Но у вас по крайней мере есть любовница? Ага, вы краснеете, приятель!.. Нравы сильно изменились. Все эти нынешние идеи правопорядка, кантианства и свободы испортили молодежь. У вас нет ни красавицы Гимар, ни Дютэ¹⁸, ни кредиторов, и вы не знаете геральдики. Ах, юный друг, да вы еще не обтесались! Знайте, кто не совершал безрассудств в дни весны, тот совершает их в зимнюю пору. Если в семьдесят лет у меня восемьдесят тысяч франков ренты, значит в тридцать лет я промотал целое состояние. Конечно, самым благородным образом, вместе с моей женой. Тем не менее ваши недостатки не помешают мне ввести вас в усадьбу Планá. Помните, вы обещали туда явиться, и я буду вас ждать.

«Какой чудак старикашка, – подумал молодой Лонгвиль. – Он весельчак и забавник, но, хоть и притворяется добрым малым, я бы ему не доверился».

На следующий день около четырех часов, когда обитатели усадьбы Планá частью разбредлись по гостиным, частью играли на бильярде, лакей торжественно доложил: «Господин де Лонгвиль». При имени нового любимца графа Кергаруэта сбежались все, даже только что промахнувшийся игрок на бильярде, – отчасти для того, чтобы посмотреть, как будет себя держать мадемуазель де Фонтэн, отчасти затем, чтобы полюбоваться чудом в человеческом образе, удостоившимся, в посрамление стольким соперникам, ее похвального отзыва. Элегантный и вместе с тем скромный костюм, непринужденные манеры, вежливое обхождение, приятный голос задушевного тембра снискали господину Лонгвилю благоволение всей семьи. Его, видимо, нисколько не поразила роскошь обстановки тщеславного сборщика налогов. Хотя он вел обычный светский разговор, было заметно, что он получил блестящее образование и что знания его столь же основательны, как и разносторонни. Он так удачно подыскал подходящий термин в довольно поверхностном споре о кораблестроении, затеянном старым моряком, что одна из дам высказала предположение, не окончил ли он Политехническое училище.

¹⁸ Перечисляются французские куртизанки.

– Мне кажется, сударыня, и поступить туда уже большая честь, – отвечал он.

Несмотря на настоятельные просьбы отобедать, он вежливо, но решительно отказался и положил конец уговорам дам, заявив, что выполняет обязанности Гиппократов при своей младшей сестре, слабое здоровье которой требует неуспынных забот.

– Вы, вероятно, врач? – насмешливо спросила одна из невесток Эмилии.

– Да нет же, господин Лонгвиль окончил Политехническое училище, – ласково возразила мадемуазель де Фонтэн, лицо которой вспыхнуло ярким румянцем, лишь только она узнала, что молодая девушка, танцевавшая на балу, приходится ее избраннику сестрой.

– Но, милочка, можно быть врачом и одновременно учиться в Политехническом училище. Не правда ли, сударь?

– Ничто не препятствует этому, сударыня, – отвечал юноша.

Все взоры обратились к Эмилии, смотревшей на обольстительного незнакомца с каким-то тревожным любопытством. Она с облегчением вздохнула, когда тот прибавил с улыбкой:

– Я не имею чести быть врачом, сударыня, и в свое время отказался поступить на службу в ведомство путей сообщения, желая сохранить свою независимость.

– И хорошо сделали, – сказал граф. – Но как можете вы считать почетным ремесло врача? – добавил высокородный бретонец. – Ах, юный друг мой, для человека вашего круга...

– Граф, я бесконечно уважаю всякое занятие, имеющее целью общественную пользу.

– Что ж, мы с вами столкнемся: мне кажется, вы уважаете эти профессии, как юноши уважают богатых вдов.

Визит господина Лонгвиля был ни слишком продолжительным, ни слишком кратким. Гость откланялся в тот самый момент, когда заметил, что понравился всем присутствующим и сумел возбудить любопытство каждого.

– Ну и хитрый малый! – объявил граф, возвратившись в гостиную, после того как проводил гостя.

Мадемуазель де Фонтэн, единственная посвященная в тайну этого визита, оделась как можно изысканнее, чтобы привлечь взоры молодого человека, и была слегка огорчена, что он не уделил ей того внимания, какого она, по ее мнению, заслуживала. Все домашние были удивлены упорным молчанием Эмилии. Обычно она старалась ослепить новых знакомцев своим кокетством, остроумной болтовней и неистощимым красноречием взглядов и поз. Потому ли, что мелодичный голос юноши и приятность его обхождения обворожили ее, потому ли, что она полюбила по-настоящему и это чувство произвело в ней перемену, только все ее жеманство пропало. Став простой и естественной, она, разумеется, стала еще прекраснее. Ее сестры и одна пожилая дама, друг семьи де Фонтэнов, приняли такое поведение за утонченное кокетство. Они решили, что, сочтя молодого человека достойным себя, Эмилия намеревалась лишь постепенно обнаружить перед ним свои совершенства, чтобы затем ослепить его внезапно, как только она ему понравится. Всем членам семьи было крайне любопытно узнать, что думает о незнакомце эта своенравная девица; однако за обедом, в то время как каждый наперерыв старался наделять господина Лонгвиля новыми достоинствами, предполагая, что открыл их первым, мадемуазель де Фонтэн все еще оставалась безмолвной; добродушная насмешка дядюшки пробудила ее вдруг от задумчивости, и она заявила довольно язвительным тоном, что под такими небесными совершенствами должен непременно таиться какой-нибудь крупный недостаток и что она поостережется судить с первого взгляда о таком слишком уж обходительном человеке.

– Тот, кто нравится всем, в сущности, не нравится никому, – добавила она. – Самый худший из всех недостатков – это не иметь их вовсе.

Подобно всем влюбленным девушкам, Эмилия обольщала себя надеждой скрыть свое чувство в глубине сердца и ввести в заблуждение окружающих ее аргусов; однако недели через две не осталось ни одного из членов многочисленного семейства, не посвященного в

эту маленькую домашнюю тайну. При третьем посещении господина Лонгвиля Эмилии показалось, что он приходит главным образом ради нее. Такое открытие доставило ей столь бурную радость, что она сама была поражена, осознав это. Привыкнув считать себя центром мироздания, она вдруг принуждена была признать некую силу, увлекавшую ее за пределы ее орбиты; она попробовала возмутиться, но не в силах была изгнать из своего сердца пленительный образ юноши. Вскоре за тем начались волнения и тревоги. Лонгвиль отличался двумя качествами, крайне неудобными для всеобщего любопытства и в особенности для любопытства Эмилии, – а именно сдержанностью и скромностью. Все тонкие уловки, применяемые Эмилией во время разговора, и все западни, расставляемые ею с целью выпросить у молодого человека подробности о нем самом, он обходил с ловкостью дипломата, не желающего открыть своей тайны. Заводила ли она разговор о живописи, Лонгвиль отвечал как знаток. Садилась ли она за фортепьяно, юноша без всякого хвастовства доказывал, что одарен недюжинным музыкальным талантом. Однажды вечером он привел все общество в восхищение, присоединив свой чудный голос к голосу Эмилии в одном из прекраснейших дуэтов Чимарозы; но когда кто-то осведомился, не артист ли он, он отшутился с таким изяществом, что ни одной из дам, как ни изощрены они были в умении читать в сердцах, не удалось выяснить, к какому кругу общества он принадлежит. Как ни старался отважный старый моряк взять это судно на abordаж, Лонгвиль ловко увертывался, желая сохранить все очарование тайны; ему тем легче удавалось оставаться прекрасным незнакомцем в усадьбе Планá, что любопытство никогда не преступало там границ вежливости. Эмилия, встревоженная такой скрытностью, возмечтала, что сможет больше узнать от сестры, чем от брата. При поддержке дядюшки, столь же искусственного в светских маневрах, как и в маневрах флота, она сделала попытку вывести на сцену новое действующее лицо, до сих пор безмолвное: мадемуазель Клару Лонгвиль. Вскоре все обитатели усадьбы выразили горячее желание познакомиться с такой прелестной особой и развлечь ее. Было передано и принято приглашение на бал в семейном кругу. Женщины не теряли надежды заставить разговориться шестнадцатилетнюю девушку.

Несмотря на небольшие тучки, принесенные неудовлетворенным любопытством и скопившиеся под влиянием подозрений, душа мадемуазель де Фонтэн утопала в ярком сиянии, и она радостно наслаждалась жизнью, думая теперь не только о самой себе: она начинала считаться с интересами других. Потому ли, что счастье делает нас добрее, потому ли, что Эмилия была слишком занята, чтобы мучить близких, но она стала менее язвительной, более терпимой, более мягкой. Удивленные родственники не могли нарадоваться перемене в ее характере. Быть может, ее эгоизм просто перерождался в любовь. Поджидать прихода своего робкого и тайного обожателя доставляло ей глубокую радость. Хотя между ними не было произнесено ни одного слова любви, она знала, что любима; и с каким же искусством умела она заставить юношу раскрывать перед ней все сокровища его необычайно разносторонних знаний. Она заметила, что ее тоже внимательно изучают, и пыталась побороть недостатки, привитые ей воспитанием. Не было ли это первой данью, принесенной любви, и жестоким упреком по отношению к самой себе? Она желала понравиться – и обворожила; она полюбила – и стала предметом обожания. Родители, зная, что ее надежно охраняет собственная гордыня, предоставляли ей полную свободу наслаждаться маленькими невинными радостями, придающими такое нежное очарование первой любви. Не раз случалось, что Максимилиан и мадемуазель де Фонтэн гуляли вдвоем по аллеям парка, где природа была нарядной, словно женщина в бальном уборе. Не раз вели они те бесцельные и бессвязные беседы, где в самых пустых по смыслу фразах скрывается самое глубокое чувство. Часто они вместе любовались солнечным закатом и его пышными красками. Они собирали маргаритки, обрывали с них лепестки и распевали самые страстные дуэты, пользуясь созданными Перголезе или Россини мелодиями как верными посредниками для передачи своих тайн.

Наступил день бала. Клара Лонгвиль и ее брат, к фамилии которых лакеи упрямо добавляли дворянскую частицу «де», были героями праздника. В первый раз в жизни мадемуазель де Фонтэн с удовольствием следила за блестящим успехом другой девушки. Она искренне расточала Кларе нежные ласки и те мелкие знаки внимания, которыми обычно женщины обмениваются лишь для того, чтобы вызвать ревность мужчин. Но у Эмилии была иная цель: она хотела выведать тайну. Однако шестнадцатилетняя мадемуазель Лонгвиль проявила еще больше тонкости и находчивости, нежели ее брат; она даже не казалась скрытной, но ловко умела переводить разговор на темы, чуждые материальным интересам, внося в свои речи столько очарования, что мадемуазель де Фонтэн почувствовала к ней нечто вроде зависти и прозвала ее «сиреной». Эмилия замышляла заставить Клару разговориться, а на деле Клара выпрашивала ее; Эмилия хотела разгадать Клару – и была сама ею разгадана. Эмилия часто досадовала, что обнаружила свой характер несколькими необдуманно сказанными словами, которые лукаво вырвала у нее Клара, хотя скромный и невинный вид этой юной девушки рассеивал всякое подозрение в коварстве. Настала минута, когда мадемуазель де Фонтэн пришлось горько раскаяться в неосторожном выпаде против людей низкого происхождения, на что ее подстрекнула Клара.

– Мадемуазель, – обратилось к ней обворожительное создание, – я столько слышала про вас от Максимилиана, что из привязанности к нему испытывала живейшее желание вас узнать; а пожелать вас узнать – не значит ли желать вас полюбить?

– Дорогая Клара, я боялась, что вам не понравятся мои суждения о людях незнатного рода.

– О, не беспокойтесь. В наше время подобные споры лишены всякого смысла. Меня лично они не задевают: я вне этого.

Как ни высокомерен был этот ответ, он доставил мадемуазель де Фонтэн живейшую радость; подобно всем страстным натурам, она истолковала его, как толкуют оракула, – то есть в том смысле, какой наиболее согласовался с ее желаниями, – и возвратилась к танцам в самом радужном настроении, любуясь Лонгвилем, внешность и изящество которого, пожалуй, даже превосходили совершенства созданного ею идеала. Она испытывала удовлетворение от мысли, что он дворянин; ее черные глаза сверкали, она танцевала с тем упоением, какое испытываешь близ любимого существа. Никогда еще между влюбленными не было такого взаимного понимания, как в эту минуту; не раз, когда законы контрданса сочетали их, чувствовали они трепет и дрожь в кончиках пальцев.

Прелестная пара провела все лето среди сельских празднеств и увеселений, незаметно отдаваясь чувству, самому сладостному в жизни, скрепляя его множеством разных пустяков, понятных всякому, – ведь все любовные истории более или менее похожи одна на другую. Оба они изучали друг друга, насколько можно изучить, когда любишь.

– Никогда еще любовное приключение не вело таким быстрым шагом к браку по любви, – говорил старый дядя, наблюдавший за молодыми людьми с тем же вниманием, с каким естествоиспытатель рассматривает в микроскоп каких-нибудь насекомых.

Эти слова напугали супругов де Фонтэн. Старый вандеец перестал относиться к замужеству дочери так безразлично, как некогда ей обещал. Он отправился в Париж навести справки, но ничего не узнал. Обеспокоенный такой таинственностью и не зная еще, каковы будут результаты расследования о семье Лонгвилей, порученного им одному парижскому должностному лицу, он счел своей обязанностью предупредить дочь, чтобы она вела себя осмотрительнее. Эмилия выслушала отцовское предостережение с притворной покорностью, полной иронии.

– По крайней мере, дорогая Эмилия, если ты любишь его, не признавайся ему!

– Да, батюшка, я люблю его, это правда, но я подожду вашего разрешения, чтобы сказать ему об этом.

– Однако подумай, Эмилия, ты же еще ничего не знаешь ни о его семье, ни о его положении.

– Если и не знаю, то лишь потому, что не хочу знать. Но, батюшка, ведь вы сами выразили желание видеть меня замужем, вы предоставили мне свободу выбора. Мой выбор сделан бесповоротно, чего же еще надо?

– Надо узнать, милое дитя, действительно ли твой избранник сын пэра Франции, – насмешливо отвечал почтенный дворянин.

Эмилия помолчала с минуту. Затем подняла голову, взглянула на отца и спросила с некоторым беспокойством:

– Разве род Лонгвилей...

– Их род угас в лице старого герцога де Ростен-Лембур, погибшего на эшафоте в 1793 году. Он был последним отпрыском последней младшей ветви.

– Но, отец, бывают весьма почтенные семьи, происходящие от побочной линии. В истории Франции немало принцев, у которых на гербе стояла косая полоса.

– Твой образ мыслей сильно переменялся, – с улыбкой заметил старый дворянин.

Следующий день был последним, который семья Фонтанов проводила в усадьбе Планá. Эмилия, сильно встревоженная словами отца, с живейшим нетерпением ждала часа, когда обычно приходил молодой Лонгвиль, надеясь добиться у него решительного слова. После обеда она вышла и углубилась в парк, направляясь к «роще признаний», где, как она знала, будет ее искать нетерпеливый юноша; и, спеша туда, она раздумывала, каким образом, не выдавая себя, выпытать столь важную для нее тайну. Задача довольно трудная! До сих пор чувство, соединявшее ее с этим незнакомцем, не было подтверждено открытым признанием. Так же как и Максимилиан, она втайне упивалась сладостью первой любви, но каждый из них, не уступая другому в гордости, как будто страшился признаться, что любит.

Максимилиан Лонгвиль, обеспокоенный довольно основательными подозрениями Клары относительно характера Эмилии, то поддавался порывам юношеской страсти, то колебался, желая узнать и испытать женщину, которой собирался вверить свое счастье. Влюбленность не мешала ему разгадать ложные предрассудки Эмилии, портившие эту юную натуру; но он хотел знать, любим ли он, прежде чем вступить с нею в борьбу, ибо не желал рисковать ни любовью своей, ни своим будущим. Поэтому он упорно хранил молчание, которое, однако, опровергали его пылкие взгляды, его обращение и все его поступки. С другой стороны, естественная девичья гордость, еще усугубленная у мадемуазель де Фонтэн нелепым чванством своей знатностью и красотой, препятствовала ей первой сказать слово любви, а все возрастающая страсть порою побуждала ее добиваться признания юноши. Таким образом, оба влюбленных чутьем понимали состояние друг друга, не открывая своих тайных опасений. В иные моменты жизни молодым существам нравится неопределенность. Именно потому, что и она и он слишком долго медлили заговорить, оба как будто обратили это ожидание в жестокую игру. Максимилиан решил, что он удостоверится в ее любви по тому усилию, какого будет стоить признание его гордой возлюбленной; Эмилия надеялась, что он с минуты на минуту нарушит свое слишком почтительное молчание.

Сидя на деревянной скамье, Эмилия размышляла обо всем, что произошло за эти три месяца, полных очарования. Подозрения отца меньше всего способны были затронуть ее, она даже пыталась опровергнуть их разными доводами, которые ей, неопытной девушке, представлялись убедительными. Прежде всего, она не допускала и мысли, что ошиблась в своем избраннике. За все лето она не могла не подметить у Максимилиана ни одного жеста, ни одного слова, обличавшего в нем низкое происхождение или профессию; больше того, его манера спорить обнаруживала человека, занятого высшими государственными интересами.

«К тому же, – думала она, – откуда чиновнику, банковскому служащему или коммерсанту взять столько досуга, чтобы жить целое лето среди полей и лесов, чтобы ухаживать за

мною, располагая своим временем так же свободно, как дворянин, которому вся жизнь впереди обеспечена?»

Она предалась мечтам, гораздо более увлекательным, нежели эти соображения, как вдруг легкий шорох листьев возвестил, что уже несколько минут за ней и, конечно, с восхищением наблюдает Максимилиан.

– Разве вы не знаете, что подглядывать за девушками очень дурно? – сказала она, улыбаясь.

– Особенно, когда они углублены в свои тайны, – лукаво отвечал Максимилиан.

– Почему бы мне не иметь тайн? Ведь у вас же они есть?

– Так вы и в самом деле думали о своих тайнах? – продолжал он, смеясь.

– Нет, я думала о ваших. Свой-то я знаю.

– Но, быть может, – тихо спросил юноша, взяв под руку мадемуазель де Фонтэн, – быть может, мои тайны те же, что ваши, а ваши – те же, что мои?

Пройдя несколько шагов, они очутились в роще, окутанной в закатных лучах золотисто-красной дымкой. Волшебство природы придавало особую торжественность этой минуте. Непринужденное и свободное обращение юноши, а также бурное волнение его сердца, передававшееся руке Эмилии учащенным биением пульса, привели ее в восторженное состояние, тем более упоительное, что вызвано оно было самым простым и невинным поводом. Строгая сдержанность, в которой воспитываются девушки высшего круга, придает необычайную силу вспышкам их чувства, и здесь-то их подстерегает грозная опасность, если на их пути встретится пылкий влюбленный. Впервые Эмилия и Максимилиан прочли во взорах друг друга столько признаний, неизъяснимых словами! Поддавшись увлечению, они легко позабыли мелкие требования гордости и холодные предостережения рассудка. Первые минуты они молчали, и только красноречивое пожатие рук выдавало их сладостные мысли.

– Сударь, мне надо задать вам один вопрос, – дрожащим голосом, взволнованно промолвила мадемуазель де Фонтэн, нарочно замедлив шаг. – Но поймите, бога ради, что он подсказан мне тем странным положением, в какое я поставлена перед моей семьей.

Ужасное для Эмилии молчание наступило после этих слов, которые она пролепетала, почти заикаясь. Гордая девушка не могла выдержать сверкающего взгляда любимого человека, так как смутно почувствовала всю низость вопроса, который готовилась задать.

– Вы дворянин?

Произнеся эти слова, она готова была провалиться сквозь землю.

– Мадемуазель, – торжественно произнес Лонгвиль с выражением, полным сурового достоинства, – обещаю вам сказать всю правду, если вы искренне ответите на мой вопрос.

Он выпустил руку девушки, которая вдруг почувствовала себя одинокой в целом свете, и сказал:

– Ради чего вы спрашиваете меня о моем происхождении?

Она стояла неподвижная, застывшая и безмолвная.

– Мадемуазель, – продолжал Максимилиан, – нам лучше покончить на этом, раз мы не понимаем друг друга. Я люблю вас, – прибавил он глухим и растроганным голосом. – Ну вот видите! – сказал он весело, услышав радостное восклицание, невольно сорвавшееся с губ девушки. – Зачем же вы спрашиваете, дворянин ли я?

«Разве мог бы он так говорить, если бы не был дворянином?» – подсказал Эмилии внутренний голос, который словно шел из самых глубин ее души. Она грациозно вскинула головку, как будто почерпнув новые силы во взгляде юноши, и протянула ему руку в знак сердечного согласия.

– А вы думали, что я так уж дорожу высоким званием? – спросила она с тонким лукавством.

– У меня нет титула, который я мог бы предложить моей жене, – отвечал он не то шутливо, не то серьезно. – Но если я выберу девушку из знатной семьи, с детства привыкшую к роскоши и утехам богатства, я знаю, к чему обязывает меня такой выбор. Любовь дарует все, – прибавил он весело, – но только любовникам. Супругам же нужно нечто более существенное, чем купол небес и ковер лугов.

«Он богат, – подумала она, – а что до титула, должно быть, он просто хочет испытать меня! Вероятно, ему сказали, что я помешана на знатности и решила выйти только за пэра Франции. Мои кривляки-сестры вполне могли сыграть со мной такую шутку».

– Уверяю вас, сударь, – сказала она вслух, – у меня были превратные представления о жизни и свете; но теперь, – продолжала она, глядя на него с таким выражением, что чуть не свела его с ума, – теперь я знаю, в чем заключаются истинные сокровища.

– Я жажду верить, что вы говорите от чистого сердца, – ответил он с ласковой серьезностью. – Дорогая Эмилия, этой зимой, меньше чем через два месяца, я буду горд тем, что смогу предложить вам, если вы дорожите преимуществами богатства. Это единственная тайна, какую я сохранил здесь, – сказал он, указывая на сердце, – ибо от успеха ее зависит мое счастье, я не смею назвать его нашим.

– Ах, назовите, назовите!

Беседуя самым нежным образом, они медленно возвратились в гостиную и присоединились к остальным. Никогда еще мадемуазель де Фонтэн не находила своего избранника таким очаровательным и остроумным; его стройная фигура, его любезные манеры казались ей еще привлекательнее после недавнего их разговора, подтвердившего, что она завладела сердцем, достойным зависти всех женщин. Они спели итальянский дуэт с таким чувством, что слушатели наградили их восторженными аплодисментами. Они распрощались с таинственным и многозначительным видом, тщетно пытаясь скрыть свое счастье. Словом, в этот день девушка почувствовала, что какая-то цепь еще теснее связала ее судьбу с судьбой незнакомца. Твердость и достоинство, проявленные им во время объяснения, когда они открылись друг другу в своих чувствах, внушили мадемуазель де Фонтэн то уважение, без какого немислима истинная любовь. Когда они с отцом остались в гостиной одни, почтенный вандеец подошел к ней, нежно взял ее за руки и спросил, удалось ли ей что-либо выяснить относительно состояния и семьи господина Лонгвиля.

– Да, дорогой батюшка, – отвечала она, – я счастливее, чем могла надеяться. Словом, господин Лонгвиль – единственный, за кого я хотела бы выйти замуж.

– Хорошо, Эмилия, – промолвил граф, – теперь я знаю, что мне делать.

– Разве вы имеете в виду какое-нибудь препятствие? – спросила она с искренней тревогой.

– Милое дитя, этот молодой человек нам совершенно неизвестен. Но если ты его любишь, он будет мне дорог, как родной сын, лишь бы он не оказался бесчестным человеком.

– Бесчестным человеком! – воскликнула Эмилия. – На этот счет я совершенно спокойна. Дядюшка, который представил его нам, может за него поручиться. Скажите же, дядюшка, был ли он когда-нибудь морским разбойником, пиратом или корсаром?

– Так я и знал, что меня вяжут в эту историю! – вскричал старый моряк со смехом.

Он оглянулся кругом, но племянница его уже упорхнула из гостиной, словно блуждающий огонек, как он имел обыкновение говорить.

– Что же это, дядя? – обратился к нему господин Фонтэн. – Как вы могли скрывать от нас, что вам известно об этом юноше? Вы же видели, как мы все беспокоимся. Господин Лонгвиль действительно из хорошей семьи?

– Я не знаю его рода ни со стороны Евы, ни со стороны Адама! – воскликнул граф де Кергаруэт. – Доверившись выбору этой ветреной девчонки, я привел к ней ее Сен-Пре¹⁹; а как мне это удалось – мое дело. Я знаю только, что этот молодец великолепно стреляет из пистолета, прекрасный охотник, чудесно играет на бильярде, в шахматы и в триктрак; он фехтует и ездит верхом не хуже покойного шевалье Сен-Жоржа²⁰. Он знает толк в отечественных винах. Он вычисляет, как Барем²¹, искусно рисует, танцует и поет. Какого черта вам еще нужно? Если уж он не настоящий дворянин, то покажите мне буржуа, который бы обладал всеми этими совершенствами, найдите мне человека, кто бы держал себя с таким благородством! Разве у него есть какое-нибудь занятие? Разве он роняет свое достоинство, бегая по канцеляриям, разве гнет спину перед выскочками, которых вы величаете главноуправляющими? Он ведет себя безукоризненно. Это настоящий мужчина. Да вот, кстати, я нашел у себя в жилетном кармане визитную карточку, он дал ее мне, решив, что я хочу отправить его на тот свет, бедный простофиля! Нынешняя молодежь не больно-то хитра... Вот, смотрите.

– Улица Сантье, дом номер пять, – произнес господин де Фонтэн, стараясь припомнить, какое из полученных им сведений могло относиться к юному незнакомцу. – Что бы это значило, черт возьми? Там ведь помещается контора «Пальма, Вербруст и Компания», они ведут оптовую торговлю кисеей, коленкором и набойкой. Ага, все ясно! Депутат Лонгвиль имеет долю в их предприятии. Все это так, но я знаю только одного сына Лонгвиля, ему тридцать два года, и он совсем не похож на нашего; тому отец выделил пятьдесят тысяч франков ренты, чтобы он мог жениться на дочери министра; отец надеется получить звание пэра, как и всякий другой. Я никогда не слыхал от него об этом Максимилиане. Да и есть ли у него дочь? Кто такая эта Клара? Впрочем, почему бы любому проходимцу не присвоить себе имя Лонгвиля? Но фирма «Пальма, Вербруст и Компания», сколько помнится, наполовину разорена какой-то спекуляцией не то в Мексике, не то в Индии. Я все это выясню.

– Ты говоришь сам с собой, точно ты на сцене, а меня не принимаешь в расчет! – вдруг вмешался старый моряк. – Разве ты не знаешь, что у меня хватит мешков в трюме, чтобы восполнить недостаток его состояния, если только он дворянин?

– Ну, если он действительно сын Лонгвиля, он ни в чем не нуждается. Однако, – добавил господин де Фонтэн, покачав головой, – его отец даже не покупал себе дворянства. До революции он был прокурором, и частица «де», присвоенная им после Реставрации, принадлежит ему с тем же правом, как и половина его состояния.

– Ба! Ба! Да здравствуют те, чьи отцы были повешены! – весело воскликнул моряк.

Спустя три-четыре дня после этого достопамятного разговора, в прекрасное ноябрьское утро, когда взоры парижан радуется вид бульваров, посеребренных иглистым инеем первой изморози, мадемуазель де Фонтэн в новой шубке, фасон которой она намеревалась ввести в моду, выехала на прогулку со своими невестками, столько терпевшими в свое время от ее насмешек. Три дамы решили прокатиться по Парижу не столько из желания обновить элегантную коляску и туалеты, которые должны были задать тон модам зимнего сезона, сколько горя нетерпением посмотреть изящную пелерину, – ее заметила одна из их приятельниц в большом бельевом магазине на углу улицы Мира. Как только дамы вошли в лавку, баронесса де Фонтэн дернула Эмилию за рукав и указала ей на Максимилиана Лонгвиля, который, сидя за конторкой, с приказчицей любезностью отсчитывал сдачу с золотой монеты белолшвейке и, казалось, о чем-то с ней совещался. «Прекрасный незнакомец» держал в руке несколько образчиков материи, что не оставляло никаких сомнений в его почтенном ремесле. Эмилию охватила лихорадочная дрожь, которой, впрочем, никто не заметил. Благодаря светскому умению владеть собой

¹⁹ *Сен-Пре* – герой-возлюбленный романа Ж.-Ж. Руссо «Новая Элоиза» (1761).

²⁰ *Сен-Жорж* – шеголь, законодатель мод XVIII века.

²¹ *Бертран-Франсуа Барем* (1640–1703) – автор учебника по арифметике.

она прекрасно скрыла клокотавшее в ее сердце негодование и ответила невесткам: «Так я и знала!» – таким неподражаемым тоном, с таким богатством интонаций, что ей могла бы позавидовать самая прославленная актриса того времени. Она направилась прямо к конторке. Лонгвиль поднял голову, с убийственным хладнокровием сунул в карман образчики, поклонился мадемуазель де Фонтэн и подошел ближе, бросив на нее испытующий взгляд.

– Мадемуазель, – сказал он белошвейке, последовавшей за ним с озабоченным видом, – я велю отправить этот счет на проверку; наша фирма считает это необходимым. Впрочем, постойте, – шепнул он молодой женщине, протягивая ей тысячефранковый билет, – возьмите, давайте уладим это дело между собой. Надеюсь, вы простите меня, мадемуазель, – продолжал он, обратившись к Эмили. – Будьте снисходительны и извините тиранию деловых обязанностей.

– Право, сударь, для меня все это совершенно безразлично, – отрезала мадемуазель де Фонтэн, глядя на него с таким самоуверенным и насмешливо-беззаботным видом, что можно было подумать, будто она видит его впервые.

– Вы говорите серьезно? – спросил Максимилиан прерывающимся голосом.

Эмилия повернулась к нему спиной с непередаваемой дерзостью. Эти короткие реплики, которыми они обменялись, ускользнули от любопытства обеих невесток. Когда дамы, купив пелерину, уселись в коляску, Эмилия, занявшая переднее место, невольно бросила последний взгляд на Максимилиана: он стоял в глубине отвратительной лавки, скрестив руки на груди, и вся его поза показывала, как мужественно переносит он несчастье, которое внезапно на него обрушилось. Глаза их встретились, и они обменялись презрительным взглядом. Каждый из них надеялся, что жестоко ранит любящее сердце. В одно мгновение оба очутились так же далеко друг от друга, как будто один из них находился в Китае, а другой в Гренландии. Разве не веет от тщеславия мертвящим, все иссушающим дыханием? Став жертвой самой яростной борьбы, раздиравшей когда-либо девичье сердце, мадемуазель де Фонтэн пожалала горькие плоды, возвращенные в ее душе мелочностью и предрассудками. Лицо ее, всегда такое свежее и бархатистое, пожелтело, пошло красными пятнами, на бледных щеках проступил зеленоватый оттенок. В надежде скрыть от спутниц свое смятение она с хохотом указывала им то на неуклюжего прохожего, то на какой-нибудь нелепый туалет; но смех ее звучал неестественно. Молчаливое сочувствие невесток казалось ей еще более оскорбительным, чем насмешки, которыми те могли бы ей отплатить за прежние издевательства. Она призвала на помощь все свое остроумие, чтобы вовлечь их в разговор, она пыталась дать выход своему гневу в безрассудных парадоксах, осыпая коммерсантов самыми язвительными сарказмами и остротами весьма дурного тона. Вернувшись домой, она слегла в горячке, принявшей довольно опасную форму. По истечении месяца заботы родных и врачей возвратили ее к жизни, на радость всей семье. Родители надеялись, что этот урок был достаточно суровым, чтобы смирить нрав Эмили, которая мало-помалу вернулась к прежним привычкам и снова закружилась в вихре света. Она весело уверяла, что нет ничего позорного в ее ошибке. Если бы, подобно отцу, она имела влияние в палате депутатов, говорила Эмилия, то добилась бы проведения закона, по которому всех коммерсантов, в особенности торговцев коленкором, метили клеймом на лбу, как беррийских баранов, вплоть до третьего поколения. Ей хотелось, чтобы для дворян, и только для них, восстановили старинный французский костюм, который так шел придворным Людовика XV. Главная беда нынешней монархии, по ее словам, состояла в том, что теперь лавочник ничем не отличается по виду от пэра Франции. Множество острот подобного рода сыпались с ее уст, лишь только какой-нибудь случай наводил ее на эту тему. Но те, кто любил Эмилию, замечали в ней, несмотря на ее веселость, скрытую печаль. Очевидно, Максимилиан Лонгвиль все еще царил в этом надменном сердце. Порою она становилась кроткой, как в то быстро промелькнувшее лето, видевшее расцвет ее любви, порою же бывала еще несноснее, чем когда-либо. Домашние охотно прощали ей капризы, вызванные тайными, но всем понятными стра-

даниями. Граф де Кергаруэт приобрел над ней некоторую власть, потакая ее все возраставшей расточительности, – к этому своеобразному утешению охотно прибегают молодые парижанки.

Первый бал, на который отправилась мадемуазель де Фонтэн, состоялся у неаполитанского посланника. Заняв место в одной из блестящих кадрилией, она вдруг увидела в нескольких шагах от себя Лонгвиля, который слегка кивнул ее партнеру.

– Этот молодой человек ваш друг? – с пренебрежительным видом спросила Эмилия своего кавалера.

– Это мой брат, – ответил тот.

Эмилия вздрогнула.

– Ах, – продолжал тот восторженным тоном, – право же, это самая благородная душа на свете!

– Вы знаете, как меня зовут? – спросила Эмилия, быстро перебивая его.

– Нет, мадемуазель. Сознаюсь, что преступно не запомнить имени, которое у всех на устах, мне бы следовало сказать – у всех в сердцах; но у меня есть веское оправдание: я только что из Германии. Мой посланник проводит отпуск в Париже, и сегодня он поручил мне сопровождать на бал его прелестную супругу, которая сидит вон там в углу.

– Настоящая трагическая маска, – заметила Эмилия, осмотрев посланницу с ног до головы.

– Таков уж ее бальный наряд, – ответил юноша, смеясь. – Придется мне все же пригласить ее танцевать! Потому-то мне и захотелось вознаграждать себя заранее.

Мадемуазель де Фонтэн слегка наклонила головку.

– Я был крайне удивлен, что встретил здесь моего брата, – продолжал болтливый секретарь посольства. – Приехав из Вены, я узнал, что бедный мальчик лежит больной. Мне очень хотелось повидать его перед балом; но политика так мало оставляет нам времени для семейных привязанностей. *Padrona della casa*²² не разрешила мне навестить моего бедного Максимилиана.

– Ваш брат не пошел по дипломатической части, как вы? – спросила Эмилия.

– Нет, – сказал секретарь вздыхая, – бедный юноша пожертвовал собою ради меня! Брат и сестра моя Клара отказались от состояния отца, чтобы он мог выделить мне майорат. Мой отец мечтает стать пэром, подобно всем, кто голосует за правительство, и уже заручился обещанием, что ему дадут это звание, – добавил он, понизив голос. – Собрав кое-какие средства, мой брат стал пайщиком банкирского дома; и мне известно, что недавно ему удалась одна спекуляция с Бразилией, которая может сделать его миллионером. Можете себе представить, как я радуюсь, что своими дипломатическими связями способствовал его успеху. Я как раз с нетерпением жду из Бразильской миссии депеши, которая сможет разглядеть чело Максимилиана. Как вы его находите?

– Но ваш брат не походит на человека, поглощенного денежными делами.

Молодой дипломат бросил испытующий взгляд на внешне спокойное лицо своей дамы.

– Как? – сказал он с улыбкой. – Барышни тоже умеют угадывать любовные мечты за непроницаемым челом?

– Ваш брат влюблен? – спросила Эмилия, не в силах сдержать своего любопытства.

– Да. Сестра Клара, о которой он заботится с отеческой нежностью, писала мне, что он влюбился нынешним летом в весьма красивую особу; но с тех пор я не имел никаких известий о его увлечении. Подумайте только, бедному Максимилиану приходилось вставать в пять часов утра, чтобы покончить со всеми делами и поспеть к четырем часам в поместье своей красавицы! Зато он вконец загнал прекрасного породистого скакуна, которого я прислал ему в подарок. Простите мою болтливость, мадемуазель! Я ведь приехал из Германии, и уже скоро

²² Хозяйка дома (*ит.*).

год, как не слышал правильной французской речи, я отвык от французских лиц и сыт по горло немецкими; право же, в своем неистовом патриотизме я готов обратиться с речью к химерам Парижского собора. Впрочем, если я болтаю с откровенностью, мало уместной для дипломата, то в этом повинны вы, мадемуазель. Не вы ли указали мне на брата? Когда разговор заходит о нем, я становлюсь поистине неистощимым. Я хотел бы поведать всем на свете, как он добр и великодушен. Дело шло ведь ни больше ни меньше как о ста тысячах франков дохода, приносимого поместьем Лонгвиль.

Итак, мадемуазель де Фонтэн получила весьма важные сведения и отчасти была этим обязана ловкости, с какой сумела выпросить своего простодушного кавалера, узнав, что он брат отвергнутого ею возлюбленного.

– Неужели вам не тяжело видеть, как ваш брат торгует кисеей и коленкором? – спросила Эмилия, окончив третью фигуру кадрили.

– Откуда вы это знаете? – удивился дипломат. – Слава богу! Кажется, я уже научился, расточая потоки слов, говорить только то, что хочу, как и все знакомые мне дипломаты.

– Но вы сами это сказали, уверяю вас.

Господин Лонгвиль посмотрел на мадемуазель де Фонтэн удивленным и испытующим взглядом. В его душу закралось подозрение. Он перевел глаза на брата, потом на свою даму, понял все, всплеснул руками, расхохотался и сказал:

– Какой же я глупец! Вы самая красивая дама на балу, мой брат украдкой на вас поглядывает и танцует, не обращая внимания на лихорадку, а вы делаете вид, что его не замечаете. Составьте его счастье, – продолжал он, отводя Эмилию к ее старому дядюшке, – я не стану ревновать; но мне всегда будет немного странно называть вас сестрой...

Между тем оба влюбленных по-прежнему безжалостно не замечали друг друга. Около двух часов ночи был сервирован легкий ужин в огромной галерее, где столы расставили, как в ресторане, чтобы люди одного круга могли объединяться по собственному выбору. В силу совпадения, нередко благоприятствующего влюбленным, место мадемуазель де Фонтэн оказалось рядом со столиком, вокруг которого разместилось самое изысканное общество. Максимилиан присоединился к этому кружку. Эмилия, внимательно прислушиваясь к беседе за соседним столом, уловила обрывки разговора, какой обычно так легко завязывается между молодой женщиной и юношей, если тот наделен обаянием и красотой Максимилиана Лонгвиля. Собеседницей молодого банкира была неаполитанская герцогиня, глаза которой метали молнии, а белоснежная кожа сверкала, как атлас. Ее интимность с Лонгвилем, которую тот умышленно подчеркивал, показалась мадемуазель де Фонтэн тем оскорбительнее, что теперь она чувствовала к своему бывшему жениху во сто раз больше нежности, чем когда-либо.

– Да, сударь, в моей стране истинная любовь умеет приносить величайшие жертвы, – говорила герцогиня, жеманясь.

– В Италии женщины более пылки, чем француженки, – промолвил Максимилиан, бросая пламенный взгляд на Эмилию. – Во француженках говорит одно тщеславие.

– Сударь, – вмешалась вдруг мадемуазель де Фонтэн, – разве не бесчестно клеветать на свою родину? Преданная любовь встречается во всех странах.

– Неужели вы думаете, мадемуазель, – возразила итальянка с язвительной усмешкой, – что парижанка способна последовать за любимым на край света!

– Ах, сударыня, это же разные вещи! Можно уйти в пустыню и жить в шалаше, но нельзя согласиться сесть за прилавок! – И Эмилия закончила фразу невольным презрительным жестом.

Так по вине злополучного воспитания Эмилия дважды погубила свое зарождающееся счастье и сама испортила себе жизнь. Задетая притворной холодностью Максимилиана и кокетливыми улыбками незнакомой итальянки, она не удержалась от ядовитой насмешки, что всегда доставляло ей злорадное удовольствие.

– Мадемуазель, – вполголоса сказал ей Лонгвиль, улучив момент, когда приглашенные с шумом подымались из-за стола, – поверьте, что никто не шлет вам таких горячих пожеланий счастья, как я; разрешите мне заверить вас в этом на прощание. На днях я уезжаю в Италию.

– Вероятно, причиной тому какая-нибудь герцогиня?

– Нет, мадемуазель, смертельная болезнь.

– Не ваше ли это воображение? – спросила Эмилия, взглянув на него с беспокойством.

– Нет, – отвечал он, – есть раны, которые не заживают никогда.

– Вы не уедете! – сказала властная девушка, улыбаясь.

– Я уеду, – торжественно повторил Максимилиан.

– Вернувшись, вы найдете меня замужем, предупреждаю вас! – продолжала она кокетливо.

– Искренне этого желаю.

– Дерзкий! – воскликнула она. – Как жестоко вы мстите!

Две недели спустя Максимилиан Лонгвиль уехал с сестрой Кларой в знойные и поэтические края прекрасной Италии, оставив мадемуазель де Фонтэн во власти самых горьких сожалений. Молодой секретарь посольства вступился за честь брата и сумел жестоко отомстить Эмилии за ее высокомерие, разгласив причину разрыва между влюбленными. Он сторичей отплатил своей даме на балу за все ее издевательства над Максимилианом и насмешил не одну сиятельную особу, описывая прекрасную ненавистницу прилавка, амазонку, проповедующую крестовый поход против банкиров, гордячку, чья любовь испарилась при виде пол-аршина кисеи. Граф де Фонтэн принужден был употребить все свое влияние и устроить Огюсту Лонгвилю назначение в Россию, лишь бы избавить дочь от насмешек, которыми нещадно осыпал ее этот молодой и опасный преследователь. Вскоре затем правительство, вынужденное увеличить число пэров, чтобы укрепить аристократическую партию верхней палаты, пошатнувшуюся от нападков одного знаменитого писателя, пожаловало господину Гиродену де Лонгвилю звание пэра Франции и виконта. Господин де Фонтэн тоже получил звание пэра, чем был обязан как своей преданности династии в трудные времена, так и своему имени, которого недоставало в наследственной палате.

К этому времени Эмилия, придя в возраст, начала, по-видимому, серьезно задумываться о своей судьбе, так как ее тон и манеры сильно переменились: вместо того, чтобы изощряться в колкостях по адресу дядюшки, она подавала ему палку с преувеличенной нежностью, вызывая улыбку у шутников; она поддерживала его под руку, каталась с ним в коляске и сопровождала его во всех прогулках; она уверяла даже, что любит аромат его трубки, и читала ему вслух его любимую газету «Котидьен» среди клубов табачного дыма, которые лукавый моряк нарочно пускал ей в лицо; она выучилась играть в пикет, чтобы составить компанию старому графу; наконец, эта взбалмошная девушка терпеливо выслушивала бесконечно повторяющиеся рассказы о морском сражении «Бель-Пуль», о маневрах «Виль-де-Пари», о первом плавании де Сюффрена или о битве при Абукире. Хотя старый моряк и любил говорить, что он слишком хорошо знает свои долготы и широты и его не возьмет на абордаж молоденькая яхта, однако в одно прекрасное утро по парижским гостиным разнесся слух о бракосочетании мадемуазель де Фонтэн с графом де Кергаруэт. Молодая графиня давала блестящие празднества, чтобы забыться, но нашла, вероятно, одну лишь суету в этом вихре развлечений: роскошь не могла скрыть пустоты ее жизни и страданий тоскующей души; несмотря на вспышки притворной веселости, ее красивое лицо по большей части выражало затаенную печаль. Впрочем, Эмилия окружала нежным вниманием своего престарелого супруга, который шуточно говорил иногда, удаляясь вечером, под звуки бального оркестра, на свою половину:

– Я сам себя не узнаю. Неужели надо было дожить до семидесяти двух лет, чтобы отчалить лоцманом на борту Прекрасной Эмилии, после того как я уже провел двадцать лет на супружеских галерах!

Поведение графини отличалось такой строгостью, что самые пронизательные критики не могли ни к чему придраться. Наблюдатели решили, что вице-адмирал оставил за собой право распоряжаться своим состоянием, чтобы крепче приструнить жену: предположение обидное как для дяди, так и для племянницы. Впрочем, супруги обращались друг с другом с таким тактом, что даже наиболее заинтересованные молодые люди не могли понять, был ли старый граф мужем или только отцом своей жене. Он часто повторял, что принял на борт потерпевшую крушение и что не в его правилах было злоупотреблять гостеприимством, если ему случалось спасти даже неприятеля от ярости бури. Несмотря на то, что графиня жаждала царить в парижском свете и старалась ни в чем не уступать герцогиням де Мофриньез, де Шолье, маркизам д'Эспар и д'Эглемон, графиням Ферро, де Монкорне, де Ресто, госпоже де Кан и мадемуазель де Туш, она отвергла, однако, страсть юного виконта де Портандюэра, влюбившегося в нее без памяти.

Два года спустя после своего замужества, сидя в одном из старинных салонов Сен-Жерменского предместья, где все восхищались ее добродетелью, достойной древних времен, Эмилия услышала, как доложили о виконте де Лонгвиле. Она играла в пикет с епископом де Персеполис в уголке гостиной, где никто не мог заметить ее волнения; повернув голову, она увидела, как вошел ее бывший жених во всем блеске молодости и красоты. Смерть отца и старшего брата, не вынесшего сурового петербургского климата, возложила на голову Максимилиана наследственный плюмаж шляпы пэров; его богатство не уступало его познаниям и талантам; не далее как вчера он привел в восхищение палату своим молодым, кипучим красноречием. Теперь он предстал перед безутешной графиней гордый, независимый, украшенный всеми совершенствами, каких она требовала некогда от своего воображаемого идеала. Все матери, имевшие дочек на выданье, кокетливо заигрывали с молодым человеком, приписывая ему всевозможные добродетели на основании его приятных манер; но Эмилия знала лучше всех, что виконт де Лонгвиль обладает той твердостью характера, в которой умные жены видят залог счастья. Она перевела взгляд на адмирала, который, по его любимому выражению, собирался долго еще продержаться на борту, и прокляла заблуждения своей юности.

В эту минуту господин де Персеполис сказал с истинно пастырской любезностью:

– Сударыня, вы сбросили червонного короля, я выиграл. Но не сожалейте о проигрыше, я приберегу эти деньги для моих бедных семинаристов.

Париж, декабрь 1829 г.

Побочная семья

*Графине Луизе де Тюрхейм на память и в знак искреннего уважения
от ее покорного слуги
де Бальзака*

Улица Турнике-Сен-Жан была некогда одной из самых кривых и темных в старинном квартале, где находится ратуша; извиваясь вдоль садилов Парижской префектуры, она выходила на улицу Мартруа, как раз у старой стены, в настоящее время снесенной. Здесь был турникет, которому улица и обязана своим названием, он был уничтожен только в 1823 году, когда городское управление Парижа выстроило на месте одного из садилов бальный зал, где был устроен праздник в честь возвращения герцога Ангулемского из Испании. Просторнее всего улица Турнике была у пересечения с улицей Тисерандери, но и там ширина ее едва достигала пяти футов. В дождливую погоду по улице текли потоки грязной воды, омывая стены старых домов и унося с собой отбросы, которые обыватели сваливали возле уличных тумб. Повозка мусорщика не могла проехать по этой вечно грязной улице, и для ее очистки жителям приходилось рассчитывать только на ливень. Да и как было привести ее в порядок? В летнее время, когда лучи солнца отвесно падают на Париж, золотая полоса света, узкая, как клинок сабли, ненадолго озаряла мрак улицы Турнике, но так и не могла высушить постоянную сырость, застоявшуюся на уровне нижних этажей черных молчаливых домов. Там лампы зажигали в июле уже в пять часов вечера, а зимой и вовсе не тушили их. Впрочем, и в наши дни отважному человеку, решившему пройти пешком от квартала Марэ до набережных, покажется, что он спустился в погреб, как только в конце улицы дю-Шом он свернет на Ом-Арме и по улицам Бийет и де-Порт выйдет на Турнике-Сен-Жан.

Почти все улицы старого Парижа, великолепие которых так превозносится в летописях, схожи с этим сырым и темным лабиринтом, где любители еще могут найти кое-какие остатки старины. Так, например, в те времена, когда существовал дом на углу улиц Турнике и Тисерандери, нетрудно было заметить торчавшие из его стены обломки двух толстых железных колец – все, что уцелело от цепей, которые квартальный надзиратель приказывал протягивать каждый вечер для охраны общественного порядка. Этот дом, примечательный своей ветхостью, был построен с предосторожностями, говорившими о сырости старинных жилищ. Для оздоровления первого этажа свод подвала был выведен фута на два над землей, и, чтобы войти в дом, приходилось подняться по трем ступенькам. Входная дверь была украшена полукруглым наличником, который заканчивался вверху женской головкой и арабесками, источенными временем. В полуподвальном этаже дома, с улицы Турнике, имелась квартирка в три окна, прорезанных почти на высоте человеческого роста и скудно пропускавших свет. Эти окна с прогнившими рамами были забраны редкой решеткой из толстых железных прутьев, выгнутых книзу, как в витринах булочных. Если днем какой-нибудь любопытный заглядывал в окна двух комнат, составлявших эту квартирку, ему ничего не удавалось там разглядеть. Лишь при свете яркого июльского солнца глаз различал во второй комнате две кровати с ветхим пологом из зеленой саржи, стоявшие рядом в алькове, обшитом деревянной панелью. Но около трех часов пополудни, как только зажгались свечи, в окно первой комнаты можно было увидеть старуху; она сидела на скамейке возле камина и помешивала угли в жаровне, на которой тушилось рагу – излюбленное блюдо привратниц. В полумраке вырисовывались кое-какие предметы кухонной и домашней утвари, развешанные в глубине комнаты. В этот час старый стол на ножках, скрещенных в виде буквы Х, бывал обычно накрыт. Скатерти, правда, на нем не было, но стояли два оловянных прибора и миска с каким-нибудь кушаньем, состряпанным старухой. Три плохоньких стула дополняли меблировку комнаты, служившей одновременно и кухней и сто-

ловой. На камине виднелся осколок зеркала, огниво, три стакана, спички и большой белый кувшин с отбитыми краями. И все же плиточный пол комнаты, утварь, камин – все ласкало взор благодаря порядку и бережливости, отличавшим это мрачное и холодное жилище. Бледное, морщинистое лицо старухи соответствовало темной улице и дряхлым, заплесневевшим стенам дома. Неподвижно сидя на стуле, она казалась вросшей в этот дом, как улитка в свою бурую раковину. В ее лице сквозь притворное добродушие проглядывало едва уловимое выражение хитрости; из-под круглого, плоского тюлевого чепца выбивались седые волосы; большие серые глаза были так же спокойны, как улица, где она жила, а многочисленные морщины можно было сравнить с трещинами в стенах дома. Родилась ли она в нужде или впала в нее после минувшего недостатка, только она, по-видимому, давно примирилась со своей печальной участью. С восхода солнца и до позднего вечера, за исключением того времени, когда старуха стряпала или отлучалась с корзинкой за провизией, она сидела у последнего окна квартирки, а напротив нее, в старом кресле, обитом красным бархатом, работала девушка. Молодую вышивальщицу прохожие могли заметить в любое время дня: она не сходила с места и, склонившись над пальцами, усердно трудилась. На коленях матери лежал зеленый тамбур для плетения тюля, но пальцы шестидесятилетней женщины еле перебирали шпульки, а зрение, по-видимому, ослабело, так как нос ее был украшен парой тех стародавних очков, которые держались при помощи пружинки на самом его кончике. С наступлением темноты труженицы ставили на столик, раздвигавший их, лампу. Пройдя сквозь два стеклянные шара, наполненные водой, ее лучи ярко озаряли работу, позволяя одной женщине видеть тончайшие нити шпулек, а другой – еле заметные штрихи рисунка, нанесенного на ткань, по которой она вышивала. Воспользовавшись выступом решетки, девушка выставила за окно длинный деревянный ящик с землей; в нем росли душистый горошек, настурция, хилый кустик жимолости и вьюнок, слабые стебельки которого обвивались вокруг прутьев. Чахлые растения давали блеклые цветы – лишний штрих, вносящий что-то грустное и нежное в картину этого окошка, проем которого так хорошо обрамлял два женских лица. Случайно заглянув в него, даже невнимательный прохожий уносил с собой представление о жизни рабочего люда в Париже, так как вышивальщица, по-видимому, жила только своей иглой. Мало кто доходил до турникета, не задав себе вопроса, каким образом девушка сохранила румянец в этом сыром подzemелье. Когда по дороге в Латинский квартал мимо проходил студент, пылкое воображение помогало ему сравнить это незаметное, бесцельное существование с жизнью плюща, покрывающего холодные каменные стены, или с жизнью обреченных на труд крестьян, которые рождаются, обрабатывают землю и умирают, оставаясь неведомыми миру, хотя именно они его и кормят. Рантье, осмотрев дом взглядом собственника, спрашивал себя: что станет с этими двумя женщинами, если вышивки выйдут из моды? Может быть, среди тех, кто в определенные часы проходил на службу в ратушу или во Дворец правосудия или же возвращался домой, попадались и добрые люди. Может быть, какой-нибудь вдовец или сорокалетний Адонис, долго и внимательно изучавший эту безрадостную жизнь, рассчитывал на бедственное положение матери и дочери, чтобы дешево купить невинную труженицу; ведь ее ловкие пухлые ручки, нежная шея и белая кожа – очарование, которыми она, вероятно, была обязана этой улице, лишенной солнечного света, – неизменно возбуждали восхищение прохожих. Может быть также, какой-нибудь честный чиновник с окладом в тысячу двести франков, ценитель благонравия и каждодневный свидетель усердия, с которым трудилась молодая вышивальщица, ожидал только повышения, чтобы соединить свою незаметную судьбу с ее столь же незаметной судьбой, свой упорный труд – с ее трудом, предложив девушке по крайней мере поддержку мужской руки и мирную любовь, бесцветную, как вьюнки на ее окошке. Смутная надежда оживляла порой потухшие серые глаза старухи-матери. Утром, после скудного завтрака, она брала тамбур скорее ради приличия, чем по обязанности, и, положив очки на потемневший от времени рабочий столик мореного дерева, такой же дряхлый, как и она сама, с половины девятого до десяти часов утра внимательно наблюдала

за людьми, обычно проходившими в это время по улице; она ловила их взгляды, высказывала замечания об их походке, одежде, лицах и, казалось, предлагала им свою дочь – так выразительны были ее глаза, пытавшиеся завязать между прохожими и девушкой узы взаимной симпатии при помощи уловок, достойных театральных кулис. Нетрудно догадаться, что обычная вереница прохожих служила ей развлечением, а может быть, и единственным удовольствием. Дочь редко поднимала голову; стыдливость, а вероятнее всего, мучительное сознание своей бедности приковывали ее взгляд к пяльцам. И только в ответ на возглас удивления матери она показывала любопытным свое личико с чертами неправильными, но весьма привлекательными. Чиновник, одетый в новый сюртук, или примелькавшийся прохожий, шедший на этот раз под руку с женщиной, могли заметить тогда слегка вздернутый носик вышивальщицы, ее румяные губы и серые глаза, полные жизни, несмотря на утомление. От бессонных ночей, проведенных за работой, под ее глазами легли темные тени, но лицо никогда не теряло свежести. Бедная девушка, казалось, была рождена для любви и веселья; для любви, которая провела над ее миндалевидными глазами тонкие, ровные дуги бровей и наградила ее таким обилием каштановых волос, что она могла закутаться ими как плащом, непроницаемым для взоров возлюбленного; для веселья, от которого трепетали ее подвижные ноздри, а на розовых щеках выступали две ямочки, для веселья – этого цветка надежды, которое помогало ей быстро забывать огорчения и без содрогания смотреть на безрадостный жизненный путь. Девушка всегда была тщательно причесана. По обычаю парижских работниц, она считала себя одетой, как только успевала пригладить волосы и выложить на висках два шаловливых завитка, резко выделявшихся на белой коже. В повороте этой головки было столько грации, темный узел волос, лежащий на точеной шейке, так красноречиво говорил о юной прелести девушки, что наблюдательный человек, видя, как упорно она работает, не поднимая глаз при звуке его шагов, мог заподозрить ее в кокетстве. Весь ее облик был так пленителен, что не один юноша оборачивался с тщетной надеждой увидеть еще раз это милое личико.

– Смотри, Каролина, новый прохожий, и гораздо лучше прежних.

Эти слова, которые мать произнесла шепотом как-то утром в августе 1815 года, преодолели равнодушие молодой вышивальщицы, но она напрасно взглянула на улицу: незнакомец уже был далеко.

– Куда же он исчез? – спросила она.

– Он, конечно, будет возвращаться часа в четыре, я толкну тебя ногой, как только его увижу. Уверена, что он опять появится. Вот уже три дня, как он проходит по нашей улице, но в разные часы: в первый день в шесть часов, позавчера – в четыре, а вчера – в три. Помнится, я видела его время от времени и прежде. Верно, это какой-нибудь чиновник префектуры, переехавший к нам в Марэ. Смотри, – прибавила она, бросив взгляд на улицу, – господин в коричневом костюме надел парик; сегодня его не узнать!

Господином в коричневом костюме, очевидно, заканчивалась ежедневная процессия прохожих, потому что старуха-мать вновь надела очки и, вздохнув, принялась за работу; при этом она бросила на дочь взгляд настолько странный, что самому Лафатеру²³ вряд ли удалось бы его объяснить; в нем было все – восхищение, признательность, надежда на лучшее будущее и чувство гордости, вызванное красотой дочери. Около четырех часов вечера старуха толкнула ногой Каролину. И та подняла голову как раз вовремя, чтобы увидеть новое действующее лицо, появление которого на улице должно было оживить отныне однообразие ежедневного зрелища. Это был человек лет сорока, высокий, худощавый, бледный. Он был одет во все черное, и в его осанке чувствовалось достоинство. Когда его пронизывающие светло-карие глаза встретились с тусклым взглядом старухи, она вздрогнула; ей показалось, что незнакомец отличается природным даром или привычкой читать в глубине сердец. Он держался очень прямо, и от его

²³ *Йоганн Каспар Лафатер* (1741–1801) – швейцарский писатель, заложивший основы криминальной антропологии.

обращения веяло, очевидно, таким же ледяным холодом, как и от улицы, по которой он шел. Но почему у него такой землистый цвет лица – виновата ли в этом болезнь или же чрезмерная работа? Эту загадку старуха решала на двадцать ладов. Но одна Каролина сразу догадалась, что грустное лицо незнакомца носит следы долгих душевных страданий. Лоб, легко собиравшийся в морщины, и слегка впалые щеки хранили на себе ту печать, которой злосчастье отмечает своих данников как бы для того, чтобы предоставить им в утешенье возможность узнавать друг друга и братски объединяться для сопротивления. Взгляд девушки загорелся сперва вполне невинным любопытством, но едва незнакомец, похожий на опечаленного родственника, замыкающего похоронное шествие, стал удаляться, в ее глазах появилось выражение нежного сочувствия. Жара в этот час была так душлива, а рассеянность неизвестного так велика, что даже по их сырой улице он шел без шляпы. Каролина успела заметить, что высокий лоб и волосы, остриженные ежиком, придавали его лицу выражение суровости. Незнакомец произвел на нее сильное, но не особенно приятное впечатление; впрочем, оно ничуть не походило на те чувства, какие вызывали у девушки другие прохожие. Впервые жалость Каролины была направлена не на себя или на мать, а на постороннего человека. Она ни словом не отозвалась на нелепые предположения старухи и, не слушая ее надоедливой болтовни, молча продолжала продергивать длинную иглу с ниткой сквозь натянутый тюль. Ей не удалось хорошенько рассмотреть незнакомца, и, сожалея об этом, она решила подождать следующего дня, чтобы составить о нем окончательное мнение. Впервые один из прохожих заставил ее задуматься. Обычно она отвечала только грустной улыбкой на догадки матери, которая в каждом увиденном мужчине надеялась найти для нее покровителя. Если все эти неосторожно высказанные соображения не пробудили ни одной дурной мысли у Каролины, то ее «беспечность» следует приписать упорному и, к несчастью, подневольному труду, который подтачивал ее неповторимую молодость и от которого вскоре должны были потускнеть ее глаза и сбежать нежные краски, пока еще оттенявшие белизну девичьего лица.

В течение двух долгих месяцев *черный господин*, как его прозвали вышивальщицы, проявлял крайнее непостоянство в привычках. Он не всегда проходил по улице Турнике; нередко старуха видела его вечером, не заметив, чтобы он прошел мимо них утром; да и возвращался он в разное время – не то что другие чиновники, которые заменяли госпоже Крошар часы. Наконец, за исключением первой встречи, когда взгляд незнакомца внушил некоторое опасение старухе-матери, его глаза больше ни разу не останавливались на живописной картине, которую представляли собой эти две женщины, похожие на духов подземелья. Если не считать двух парадных дверей и темной скобяной лавки, на улицу Турнике выходили в те времена лишь решетчатые окна, слабо освещавшие лестницы нескольких соседних домов. Следовательно, отсутствие любопытства у прохожего нельзя было объяснить каким-нибудь опасным соперничеством. Вот почему госпожа Крошар была задета за живое, видя своего «черного господина» неизменно серьезным и сосредоточенным; взгляд его был вечно прикован к земле или устремлен вдаль, словно он хотел прочесть будущее в сыром тумане улицы Турнике. Но как-то утром, в конце сентября, шаловливое личико Каролины Крошар выступило таким сияющим видением на темном фоне комнаты, среди запоздалых цветов и поблекшей листвы растений, обвившихся вокруг железных прутьев решетки, и это обычное зрелище явило такой чудесный контраст света и тени, белых и розовых тонов, прекрасно гармонизировавших с муслином, над которым трудилась хорошенькая вышивальщица, и с красновато-коричневой обивкой кресел, что незнакомец очень внимательно посмотрел на столь эффектную живую картину. По правде сказать, старуха-мать, раздосадованная безразличием «черного господина», принялась так громко стучать своими шпильками, что, может быть, именно этот необычный шум и заставил угрюмого, озабоченного прохожего заглянуть к ним в окошко. Незнакомый обменялся с Каролиной быстрым взглядом, но и этого было достаточно, чтобы между ними установилась мимолетная близость и у обоих возникло предчувствие, что они станут думать друг о друге.

Около четырех часов дня неизвестный возвращался обратно; Каролина узнала его шаги, гулко отдававшиеся по улице, и когда девушка и незнакомец взглянули друг на друга, это уже было сделано преднамеренно как с той, так и с другой стороны; в глазах прохожего появилось дружеское выражение, и он улыбнулся, а Каролина покраснела; старуха-мать наблюдала за обоими с довольным видом. С того памятного утра «черный господин» стал проходить по улице Турнике дважды в день, и если изредка он не появлялся, обе женщины отмечали это как исключение. Судя по тому, что незнакомец возвращался со службы в разное время, они решили, что он не мелкая сошка, ибо простой чиновник обычно не задерживается в присутствии и уходит домой в определенный час.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.